3. Н. ГИППІУСЪ

живыя лица

БЛОКЪ — БРЮСОВЪ

ВЫРУБОВА — РОЗАНОВЪ

СОЛОГУБЪ

О МНОГИХЪ



ПРАГА

Издательство

пламя

въ прагъ

подъ общимъ

руководствоиъ

профессора

Е. А. ЛЯЦКАГО

1925

LEGIOGRAFIE Praha-Vršovice Sámova 665

выпускъ первый

В Л О К **Ъ** — В Р Ю С О В **Ъ**

BUPYBOBA

мой лунный другъ

о Блокњ

И пусть надъ нашимъ смертнымъ ложемъ Взовьется съ крикомъ воронье... Тѣ, кто достойнѣй, Боже, Боже, Да внидутъ въ царствіе Твое!

Это не статья о поэзіи Блока. Не мало ихъ у меня въ свое время было. Это не статья и о Блокъ самомъ. И ужъ во всякомъ случав это не судъ надъ Блокомъ. И не оцѣнка его. Я хочу разскавать о самомъ Блокъ, дать легкія тѣни нашихъ встрѣчъ съ нимъ, — только.

Ихъ очень было много за двадцать почти лѣтъ. Очень много. Наши отношенія можно бы назвать дружбой... лунной дружбой. Кто-то скавалъ, впрочемъ (какой-то французъ), что дружба — всегда лунная, и только любовь солнечная.

Осень на дачѣ подъ Петербургомъ. Опушка лѣса, полянка надъ оврагомъ. Воздухъ яблочно-терпкій, небо ярко-лиловое около ярко-желтыхъ, сверкающихъ кудрей тоненькихъ березокъ.

Я сижу надъ оврагомъ и читаю только что полученное московское письмо отъ Ольги Соловьевой.

Объ этой зам'вчательной женщин'в скажу вкратц'в два слова. Она была женой брата Владиміра Соловьева, — Михаила. Мен'ве изв'встный, нежели Владиміръ, — Михаилъ былъ, кажется, глубже, сосредоточенн'ве и, главное, какъ-то т и ш е знаменитаго брата. Ольга — порывистая, умная, ц'вльная и необыкновенно талантливая. Ея картины никому не изв'встны; да она ихъ, кажется, мало кому и показывала; но каждый рисунокъ ея — было въ немъ что-то такое с в о е и новое, что онъ потомъ не забывался. Она написала только одинъ разсказъ (задолго до нашего знакомства). Напечатанный въ С'вв. В'встникъ, онъ опять былъ такой новый и особенный, что его долго всъ помнили.

Не внаю, какъ случилось, что между нами завязалась переписка. И длилась годы, а мы еще никогда другъ друга не видали. Познакомились мы сравнительно незадолго до ея смерти, въ Москвъ. Тогда же, когда въ первый разъ увидались съ Борей

Бугаевымъ (впослѣдствіи Андреемъ Бѣлымъ). Семьи Бугаевыхъ и Соловьевыхъ жили тогда на Арбатѣ, въ одномъ и томъ же домѣ, въ разныхъ этажахъ.

Кажется, весной 1903 года, Михаилъ Соловьевъ, очень слабый, заболълъ инфлуэнцей. Она осложнилась. Ольга не отходила отъ него до послъдней минуты. Закрывъ ему глаза, она вышла въ другую комнату и застрълилась.

Вмѣстѣ ихъ отпѣвали и хоронили. Ольга была очень религіозный человѣкъ и — язычница. Любовь ея была ея религіей.

Остался сынъ Сергъй, шестнадцатилътній. Впослъдствіи — недурной поэтъ, издавшій нъсколько книгъ (немножко классикъ). Передъ войной онъ сдълался священникомъ.

2

Въ тотъ яркій осенній день, съ котораго начинается мой разсказъ, изъ письма Ольги Соловьевой выпало нѣсколько отдѣльныхъ листковъ. Стихи. Но прочтемъ сначала письмо.

Въ немъ, post scriptum: «...а вы ничего не знаете о новоявленномъ, вашемъ же, петербургскомъ, поэтѣ? Это юный студентъ; нигдѣ, конечно, не печатался. Но, можетъ быть, вы съ нимъ случайно знакомы? Его фамилія Блокъ. Отъ его стиховъ Боря (Бугаевъ)

въ такомъ восторгѣ, что буквально катается по полу. Я... право не знаю, что сказать. Переписываю Вамъ нѣсколько. Напишите, что Вы думаете».

Вошли ли эти первыя робкія пѣсни въ какойнибудь томъ Блока? Вѣроятно, нѣтъ. Онѣ были такъ смутны, хотя уже и самое косноязычіе ихъ — было Блоковское, которое не оставляло его и послѣ, и давало ему своеобразную прелесть.

И тема, помню, была Блоковская: первыя виденія Прекрасной Дамы.

3

Перевздъ въ городъ, вима, двла, кажется религіовно-философскія собранія... Блокъ мнв не встрвчался, хотя кто-то опять принесъ мнв его стихи, другіе, опять меня заинтересовавшіе.

Ранней весной, — еще холодновато было, каминъ топился, значитъ въ началѣ или серединѣ марта, — кто-то позвонилъ къ намъ. Иду въ переднюю, отворяю дверь.

День свѣтлый, но въ передней темновато. Вижу только, что студентъ, незнакомый; пятно свѣтлосѣрой тужурки.

— Я пришелъ... нельзя ли мнѣ записаться на билетъ... въ пятницу, въ Соляномъ Городкѣ Мережковскій читаетъ лекцію...

- А какъ ваша фамилія?
- Блокъ...
- Вы Блокъ? Такъ идите же ко мнѣ, познакомимся. Съ билетомъ потомъ, это пустяки...

И вотъ Блокъ сидитъ въ моей комнатѣ, по другую сторону камина, прямо противъ высокихъ оконъ. За окнами, — они выходятъ на соборную площадъ Спаса Преображенія, — стоитъ зеленый, стеклянный свѣтъ предвесенній, уже немеркнущее небо.

Блокъ не кажется мнѣ красивымъ. Надъ узкимъ высокимъ лбомъ (все въ лицѣ и въ немъ самомъ — узкое и высокое, хотя онъ средняго роста) — густая шапка коричневыхъ волосъ. Лицо прямое, неподвижное, такое спокойное, точно оно изъ дерева или изъ камня. Очень интересное лицо.

Движеній мало, и голосъ подъ стать: онъ мнѣ кажется тоже «узкимъ», но онъ при этомъ низкій и такой глухой, какъ-будто идетъ изъ глубокаго-глубокаго колодца. Каждое слово Блокъ произноситъ медленно и съ усиліемъ, точно отрываясь отъ какого-то раздумья.

Но странно. Въ этихъ медленныхъ отрывочныхъ словахъ, съ усиліемъ выжимаемыхъ, въ глухомъ голосѣ, въ деревянности прямого лица, въ спокойствіи сѣрыхъ невнимательныхъ глазъ, — во всемъ обликѣ этого студента — есть что-то милое. Да, милое, дѣтское, — «не страшное». Вѣдь «по какому-то» (какъ сказалъ бы юный Боря Бугаевъ) всякій новый вэрос-

лый человѣкъ — страшный; въ Блокѣ именно этой «страшности» не было ни на капельку; потому, должно быть, что несмотря на неподвижность, серьезность, деревянность даже — не было въ немъ «взрослости», той безнадежной ея стороны, которая и даетъ «страшность».

Ничего этого, конечно, тогда не думалось, а просто чувствовалось.

Не помню, о чемъ мы въ первое это свиданіе говорили. Но говорили такъ, что ужъ ясно было: еще увидимся, непремѣнно.

Кажется, къ концу визита Блока пришелъ Мережковскій.

4

Въ эти годы Блока я помню почти постоянно. На религ.-философскихъ собраніяхъ онъ какъ-будто не бываль, или случайно, можетъ быть (тамъ всѣ бывали). Но онъ быль съ самаго зарожденія журнала «Новый путь». Въ этомъ журналѣ была впервые напечатана цѣлая серія его стиховъ о Прекрасной Дамѣ. Очень помогалъ онъ мнѣ и въ критической части журнала. Чуть не въ каждую книжку давалъ какую-нибудь рецензію или статейку: о Вячеславѣ Ивановѣ, о новомъ изданіи Вл. Соловьева... Стоило бы просмотрѣть старые журналы.

Но и до начала Новаго Пути мы уже были такъ

дружны, что лѣтомъ 1902 года, когда онъ уѣвжалъ въ свое Шахматово (подмосковское имѣньице, гдѣ онъ потомъ жилъ подолгу и любовно устраивалъ домъ, самъ работая) — мы все время переписывались. Поздней же осенью онъ пріѣхалъ къ намъ на нѣсколько дней въ Лугу.

Дача у насъ была пустынная, дни стояли, послѣ дождливаго лѣта, ярко-хрустальные, очень холодные.

Мы бродимъ по перелъску, кругомъ желтое волото, алость сентябрьская, ручей журчитъ во мхахъ, и такой — даже на видъ холодный, хоть и солнце въ немъ отражается. О чемъ-то говоримъ, — можетъ быть, о журналъ, можетъ быть, о чемъ-то совсъмъ другомъ... врядъ ли о стихахъ.

Никакіе мои разговоры съ Блокомъ невозможно передать. Надо внать Блока, чтобы это стало понятно. Онъ, во-первыхъ, всегда будучи съ вами, еще былъ гдѣ-то, — я думаю, что лишь очень невнимательные люди могли этого не замѣчать. А во-вторыхъ — каждое изъ его медленныхъ, скупыхъ словъ казалось такимъ тяжелымъ, такъ оно было чѣмъ-то перегружено, что слово легкое, или даже много легкихъ словъ, не годились въ отвѣтъ.

Можно было, конечно, говорить «мимо» другъ друга, въ двухъ разныхъ линіяхъ; многіе, при мнѣ, такъ и говорили съ Блокомъ, — даже о «возвышенныхъ» вещахъ; но у меня, при самомъ простомъ разговорѣ, невольно являлся особый языкъ: м е ж д у

словами и около нихъ лежало гораздо больше, чъмъ въ самомъ словъ и его прямомъ значеніи. Главное, важное, никогда не говорилось. Считалось, что оно — «несказанно».

Сознаюсь, иногда это «несказанное» (любимое слово Блока) меня раздражало. Являлось почти грубое желаніе все перевернуть, прорвать туманные покровы, привести къ прямымъ и яснымъ линіямъ, впасть чуть не въ геометрію. Притянуть «несказанное» за уши и поставить его на землю. Въ такомъ возстаніи была своя правда, но... не для Блока. Не для того ранняго Блока, о которомъ говорю сейчасъ.

Невозможно сказать, чтобы онъ не имълъ отношенія къ реальности; еще менѣе, что онъ «не уменъ». А между тъмъ, все называемое нами философіей, логикой, метафизикой, даже религіей — отскакивало отъ него, не прилагалось къ нему. Ученикъ и поклонникъ Владиміра Соловьева — Блокъ весь былъ обращенъ къ туманно-зыбкому провидѣнію своего учителя: къ его стихамъ, гдв появляется «Она», «Двва радужныхъ воротъ». Христіанство Вл. Соловьева не коснулось Блока. Въ то время какъ Вл. Соловьевъ, для котораго христіанство и служило истокомъ его «провидѣній», могъ безбоязненно перепрыгивать изъ одного порядка въ другой, могъ въ «Трехъ Встръчахъ», — самой «несказанной» изъ поэмъ, — вдругъ написать, захохотавъ, строчку: «Володенька, да какъ же ты глюпа!» — Блокъ не умълъ этого. «Она» или сіяла ему ровнымъ невечернимъ свѣтомъ, или проваливалась, вмѣстѣ съ нимъ, въ бездну, гдѣ ужъ не до невинныхъ улыбокъ надъ собой.

5

Чёмъ дальше, тёмъ все яснёе проступала для меня одна черта въ Блокв, — двойная: его т р а г и чно с т ь, во-первыхъ, и во-вторыхъ, его какая-то не в а щ и щ е н н о с т ь... отъ чего? Да отъ всего: отъ самого себя, отъ другихъ людей, — отъ жизни и отъ смерти.

Но какъ разъ въ этой трагичности и неващищенности лежала и главная притягательность Блока. Немногіе, конечно, понимали это, но все равно, привлекались и не понимая.

Мои внутреннія возстанія на Блоковскую «несказа́нность», тяжелымъ облакомъ его обнявшую и связавшую, были инстинктивнымъ желаніемъ, чтобы нашелъ онъ себѣ какую-нибудь защиту, схватился за какое-нибудь человѣческое оружіе. Но для этого надо было въ свое время повзрослѣть. Взрослость же — не безнадежная, всеубивающая, о которой говорилось выше, но необходимая взрослость каждаго человѣка, — не приходила къ Блоку. Онъ оставался, при рѣдкостной глубинѣ — за чертой «отвѣтственности».

Зналъ ли онъ самъ объ этомъ? Зналъ ли о трагичности своей и незащищенности? Въроятно, зналъ. Во всякомъ случаъ чувствовалъ онъ ихъ, — и предчувствовалъ, что онъ готовятъ ему, — въ полную силу.

6

Блокъ, я думаю, и самъ хотѣлъ «воплотиться». Онъ подходилъ, приникалъ къ жизни, но когда думалъ, что входитъ въ нее, соединяется съ нею — она отвѣчала ему гримасами.

Я, впрочемъ, не знаю, какъ онъ подходилъ, съ какими усиліями. Я пишу только о Блокѣ, котораго видѣли мои собственные глаза.

А мы съ нимъ даже и не говорили почти никогда другъ о другѣ, — о нашей человѣческой живни. Особенно въ первые годы нашей дружбы. Во всякомъ случаѣ не говорили о фактахъ, прямо, а лишь «около» нихъ.

Миѣ была извѣстна, конечно, общая біографія Блока, то, что его родители въ разводѣ, что онъ живетъ съ матерью и вотчимомъ, что отецъ его — въ прибалтійскомъ краѣ, а сестру, оставшуюся съ отцомъ, Блокъ почти не знаетъ. Но я не помню, когда и какъ миѣ это стало извѣстно. Отраженія фактовъ въ Блоковской душѣ миѣ были извѣстнѣе самихъ фактовъ.

Мы засидѣлись однажды — надъ корректурой, или надъ другой какой-то работой по журналу — очень поздно. Такъ поздно, что бѣлая майская ночь давно промелькнула. Солнце взошло и стояло, маленькое и блѣдное, уже довольно высоко. Но улицы, имъ облитыя, были совершенно пусты: городъ спалъ, — вѣдь была глубокая ночь.

Я люблю эти солнечные часы ночного затишья; свѣтлую жуть мертваго Петербурга (какое страшное въ ней было предсказанье!).

Я говорю Блоку:

— Знаете? Пойдемте гулять.

И вотъ мы уже внизу, на сѣрыхъ, скрипящихъ весенней пылью, плитахъ тротуара. Улицы прямы, прямы, тишина, гдѣ-то за заборомъ поетъ пѣтухъ... Мы точно одни въ цѣломъ городѣ, въ нашемъ, намъ миломъ. Онъ кажется мертвымъ, но мы знаемъ, — онъ только спитъ...

Опять не помню, о чемъ мы говорили. Помню только, что намъ было весело, и разговоръ былъ легкій, какъ рѣдко съ Блокомъ.

Уже возвращаясь, почти у моей двери, куда онъ меня проводилъ, я почему-то спрашиваю его:

— А вы какъ думаете, вы женитесь, Александръ Александровичъ?

Онъ неожиданно быстро отвътилъ:

— Да. Думаю, что женюсь.

И прибавилъ еще:

— Очень думаю.

Это все, но для меня это было такъ ясно, какъ если бы другой весь вечеръ говорилъ мнѣ о своей вотъ-вотъ предстоящей свадьбѣ.

На мой вопросъ кому-то:

- Вы внаете, что Блокъ женится?

Отвътъ былъ очень спокойный:

— Да, на Любочкъ Менделъевой. Какъ же, я зналъ ее еще дъвочкой, толстушка такая.

7

Въ это лѣто мы съ Блокомъ не переписывались. Осенью кто-то разсказалъ мнѣ, что Блокъ, женившись, уѣхалъ въ Шахматово, что жена его какая-то удивительная прелесть, что у нихъ въ Шахматовѣ долго гостили Боря Бугаевъ и Сережа Соловьевъ (сынъ Михаила и Ольги Соловьевыхъ).

Всю послѣдующую виму обстоятельства такъ сложились, что Блокъ почти не появлялся на нашемъ горивонтѣ. Журналъ продолжался (р.-ф. собранія были запрещены свыше), но личное горе, постигшее меня въ началѣ вимы, пріостановило мою работу въ немъ на нѣкоторое время. У насъ не бывалъ никто, — изрѣдка молодежь, ближайшіе сотрудники журнала, — все, впрочемъ, друвья Блока.

Помнится какъ-то, что былъ и онъ. Да, былъ, въ первый разъ послъ своей женитьбы. Онъ мнъ показался абсолютно такимъ же, ни на іоту не перемѣнившимся. Немного мягче, но, можетъ быть, просто мы обрадовались другъ другу. Онъ мнѣ принесъ стихи, — и стихи были тѣ же, Блоковскіе, полные той же прелестью, говорящіе о той же Прекрасной Дамѣ.

И разговоръ нашъ былъ такой же; только одинъ у меня вырвался прямой вопросъ, совсѣмъ ненужный, въ сущности:

— Не правда ли, вѣдь говоря о Ней, вы никогда не думаете, не можете думать, ни о какой реальной женщинѣ?

Онъ даже глаза опустилъ, точно стыдясь, что я могу предлагать такіе вопросы:

— Ну, конечно нътъ, никогда.

И мнѣ стало стыдно. Такой опасности для Блока, и женившагося, не могло существовать. Въ чемъ я его подозрѣваю! Надо же было видѣть, что женитьба измѣнила его... пожалуй, даже слишкомъ мало.

При прощаніи:

- Вы не хотите меня познакомить съ вашей женой?
 - Нътъ. Не хочу. Совсъмъ не надо.

8

Мит не хоттось бы касаться никого изъ друзей Блока; только одного его друга (и бывшаго моего) —

Бориса Бугаева — «Андрея Бѣлаго» — обойти молчаніемъ невозможно.

Онъ не умеръ. Для меня, для многихъ русскихъ людей, онъ какъ бы давно умеръ. Но это все равно. О живыхъ или о мертвыхъ говоришь — важно говорить правду. И о живыхъ и о мертвыхъ, одинаково, нельзя сказать всей фактической правды. О чемъ-то нужно умолчать, и о худомъ, и о хорошемъ.

Объ Андрев Беломъ, спеціально, мнё даже и охоты нётъ писать. Я возьму прежняго Борю Бугаева, какимъ онъ былъ въ тё времена, и лишь постольку, поскольку того требуетъ исторія моихъ встрёчъ съ Блокомъ.

Трудно представить себѣ два существа болѣе противоположныя, нежели Боря Бугаевъ и Блокъ. Ихъ различіе было до грубости ярко, кидалось въ глаза; тайное сходство, нить, связывающая ихъ, не такъ легко угадывалась и не очень поддавалась опредѣленію.

Съ Борей Бугаевымъ познакомились мы приблизительно тогда же, когда и съ Блокомъ (когда, въроятно, и Блокъ съ нимъ познакомился). И хотя Б. Бугаевъ жилъ въ Москвъ, куда мы попадали не часто, а Блокъ въ Петербургъ, отношенія наши съ первымъ были внъшне-ближе, не то дружественнъе, не то фамильярнъс.

Я беру Б. Бугаева въ сферѣ Блока, а потому и не останавливаюсь на нашихъ отношеніяхъ. Ука-

вываю лишь на разность этихъ двухъ людей. Если Борю иначе, какъ Борей, трудно было называть — Блока и въ голову бы не пришло звать «Сашей».

Серьезный, особенно-неподвижный, Блокъ — и весь извивающійся, всегда танцующій Боря. Скупыя, тяжелыя, глухія слова Блока — и безконечно-льющіяся, водопадныя рѣчи Бори, съ жестами, съ лицомъ вѣчно мѣняющимся, — почти до гримасъ; онъ то улыбается, то презабавно и премило хмуритъ брови и скашиваетъ глаза. Блокъ долго молчитъ, если его спросишь; потомъ скажетъ «да». Или «нѣтъ». Боря на все отвѣтитъ непремѣнно: «да-да-да»... и тотчасъ унесется въ пространство на крыльяхъ тысячи словъ. Блокъ весь твердый, точно деревянный или каменный — Боря весь мягкій, сладкій, ласковый. У Блока и волосы темные, пышные, лежатъ, однако, тяжело. У Бори — они легче пуха, и желтенькіе, точно у едва вылупившагося цыпленка.

Это внѣшность. А вотъ чуть-чуть поглубже. Блокъ, — въ немъ чувствовали это и друзья и недруги, — былъ необыкновенно, исключительно правдивъ. Можетъ быть, фактически онъ и лгалъ комунибудь когда-нибудь, не знаю: знаю только, что вся его матерія была правдивая, отъ него, такъ сказать, несло правдой. (Кажется, мы даже разъ говорили съ нимъ объ этомъ). Можетъ быть и косноязычіе его, тяжелословіе, происходило отчасти благодаря этой природной правдивости. Вѣдь Блока, я думаю, ни-

когда не покидало сознаніе, или ощущеніе, — очень проврачное для собесѣдника, — что онъ н и ч е г о н е п о н и м а е т ъ. Смотритъ, видитъ, — и во всемъ для него, и въ немъ для всего, — недосказанность, неконченность, темность. Очень трудно передать это мучительное чувство. Смотритъ и не видитъ, потому что вотъ того не понимаетъ, чего, кажется, не понимать и значитъ н и ч е г о н е п о н и м а т ь.

Когда это постоянное состояніе Блока выступало особенно рѣзко, мнѣ думалось: а вдругъ и всѣ «ничего не понимаютъ», и рѣдкостность Блока лишь въ томъ, что онъ съ непрерывностью чувствуетъ, что ничего «не понимаетъ», а всѣ другіе — не чувствуютъ?

Во всякомъ случав, съ Борей такія мысли въ голову не приходили. Онъ говорилъ слишкомъ много, слишкомъ остро, оригинально, глубоко, — затвйно, — подчасъ прямо блестяще. О, не только понимаетъ, — онъ даже пере-перепонялъ... все. Говорю это безъ малвишей улыбки. Я не отказываюсь отъ одной своей замвтки въ «Рвчи», — она называлась, кажется, «Бълая Стрвла». Б. Бугаевъ не геній, геніемъ быть и не могъ, а какія-то искры геніальности въ немъ зажигались, стрвлы геніальности, неизвъстно откуда летящія, куда уходящія, въ него попадали. Но онъ всегда оставался ихъ пассивнымъ объектомъ.

Это не мѣшало ему самому быть, въ противоположность правдивому Блоку, исключительно неправдивымъ. И что всего удивительнѣе — онъ оставался при томъ искреннимъ. Но опять чувствовалась иная матерія, разная природа. <u>Блокъ по существу</u> былъ в ѣ р е н ъ. «Ты, Петръ, камень»... А ужъ если не вѣренъ — такъ срывается съ грохотомъ въ такія тартарары, что и костей не соберешь. Срываться, однако, долженъ — вѣдь «ничего не понимаетъ»...

Боря Бугаевъ, — весь легкій, легкій, какъ пухъ собственныхъ волосъ въ юности, — онъ танцуя перелетитъ, кажется, всякія «тарары». Ему точно предназначено ихъ перелетать, надъ ними танцовать, — туда, сюда... направо, налѣво... вверхъ, внивъ...

Боря Бугаевъ — воплощенная невѣрность. Такова его природа.

9

Что же связывало эти два, столь различныя, существа? Какая была между ними схожесть?

Она была. Опять не коснусь «искусства», того, что оба они — поэты, писатели. Я говорю не о литературѣ, только о людяхъ и о ихъ душахъ, еще върнѣе — о ихъ образахъ.

Прежде всего, они, Блокъ и Бугаевъ, люди одного и того же поколѣнія (можетъ быть «полупоколѣнія») оба неисцѣлимо «неварослые». Въ человѣкъ арѣломъ, если онъ человѣкъ не безнадежно плоскій, остается, конечно, что-то отъ ребенка. Но

Блокъ и Бугаевъ — это совсъмъ не то. Они оба не имъли врълости, и чъмъ больше времени проходило, тъмъ яснъе было, что они ея и не достигнутъ. Не разрушали впечатлънія невзрослости ни серьезность Блока, ни громадная эрудиція Бугаева. Это все было в м ъ с т о зрълости, но отнюдь не она сама.

Стороны ч и с т о-дѣтскія у нихъ были у обоихъ, но разныя: изъ Блока смотрѣлъ ребенокъ вадумчивый, упрямый, испуганный, очутившійся одинъ въ незнакомомъ мѣстѣ; въ Борѣ — сидѣлъ баловень, фантастъ, капризникъ, беззаконникъ, то наивный, то наивничающій.

Блокъ мало зналъ свою дѣтскость; Боря зналъ отлично и подчеркивалъ ее, игралъ ею.

Оба они, котя нѣсколько по разному, были <u>безвольны</u>. Надъ обоими властвовалъ рокъ. Но если въ Блокѣ чувствовался трагизмъ — Боря былъ драматиченъ и, въ худшемъ случаѣ, мелодраматиченъ.

На взглядъ грубый, сторонній, и Блокъ, и Бугаевъ казались, — скажемъ прямо, — людьми «ненормальными». И съ той же грубостью толпа извиняла имъ «ненормальность» за ихъ «талантъ», за то, что они «поэты». Тутъ все, конечно, съ начала до конца — оскорбительно. И признаніе «ненормальности», и прощеніе за «поэзію». Что требовать съ внѣшнихъ? Бѣда въ томъ, что этотъ взглядъ незамѣтно воспринимался самими поэтами и писателями даннаго поколѣнія, многими и многими (я не говорю

тутъ собственно о Блокѣ и Бугаевѣ). Понемногу сами «служители искусства» привыкли оправдывать и безволіе, и невзрослость свою — именно причастностью къ «искусству». Не видѣли, что отходятъ отъ жизни, становятся просто забавниками, развлекателями толпы, все имъ за это снисходительно позволяющей...

Впрочемъ, я отвлекаюсь. Вернемся къ разсказу.

10

Весной 1904 года мы ѣздили заграницу. Останавливались въ Москвѣ (мы тогда были въ Ясной Полянѣ), конечно видѣли Бугаева, хотя особенно точно я этого свиданія не помню. Знаю лишь, что съ Блокомъ въ то время Бугаевъ уже былъ очень близокъ (а равно и молодой С. Соловьевъ).

Началомъ ихъ близости было, помимо прочаго, конечно, и то, что Бугаевъ считалъ себя не меньшимъ послѣдователемъ Влад. Соловьева, чѣмъ Блокъ. Чуждый всякой философіи и метафизики, Блокъ былъ чуждъ, какъ упомянуто выше, и подосновы В. Соловьева — христіанства. Онъ принималъ его въ «несказанномъ». Напротивъ, Бугаевъ только и говорилъ, что о христіанствѣ, — съ христіанами преимущественно. Къ метафизикѣ и философіи онъ имѣлъ большое пристрастіе, — хотя я не думаю,

чтобы съ Блокомъ онъ развивалъ свои философскія теоріи. Надо сказать правду: Бугаевъ умѣлъ находить съ каждымъ его языкъ и его тему.

Мы были съ нимъ уже такъ хороши, что условились: Боря въ Петербургъ, куда онъ вознамърился пріъзжать часто, останавливается у насъ.

Общія событія лѣта и осени 1904 года памятны всѣмъ: убійство Плеве, «весна» Святополка-Мирскаго, — банкеты... У насъ были свои частныя событія: привлеченіе въ журналъ «Новый Путь» такъ называемыхъ «идеалистовъ» (Булгакова, Бердяева и др.).

Я не пишу воспоминаній этого времени, а потому скажу вскользь: «Новый Путь», по многимъ причинамъ разнообразнаго характера, мы ръшили 1904-мъ вакончить, и, конечно, желательнъе было его кому-нибудь передать. Одна изъ причинъ была та, что мы хотъли увхать года на три заграницу. Срока отъвада мы, впрочемъ, не назначали, и если бъ удалось, привлеченіемъ новыхъ людей къ журналу, перестроить его такъ, какъ того требовало время (не измъняя, однако, его основъ) мы рады были бы его продолжать. Короче и ясне - Новый Путь, журналь религіозный, быль слишкомь индивидуалистиченъ: ему недоставало струи общественной. «Идеализмъ» группы Булгакова-Бердяева былъ тъмъ мостомъ, по которому эта группа вчерашнихъ чистыхъ общественниковъ (эсъ-дековъ) переходила къ религіи -- можетъ быть, сама еще того не зная... (Будущее

показало, что мы угадали вѣрно, — въ общемъ. Всѣмъ извѣстно, какъ далеко, въ послѣдующіе годы, ушли въ сторону религіи Булгаковъ и Бердяевъ, и какъ скоро мосты за ними были сожжены).

Надежды наши оправдались не вполнъ. Идеалисты вошли въ Новый Путь, но при самомъ соединеніи было ясно, что для совмъстной работы еще не насталъ моментъ: они — еще слишкомъ «эсъ-деки», мы — еще слишкомъ индивидуалисты.

И, фактически, уже къ концу года журналъ былъ переданъ имъ, съ тѣмъ, чтобы далѣе онъ, переименовавшись въ «Вопросы Жизни», продолжался безъ нашего участія. Естественно измѣнялся и составъ сотрудниковъ. Это было рѣшено полюбовно, хотя не могу не сказать, что у насъ было больше доброй воли къ соединенію и уступкамъ. Но привычное недовѣріе чистыхъ общественниковъ къ людямъ искусства, да еще съ уклономъ къ христіанству, (не привычно ли «религія-реакція»)? — не удивило насъ и въ «идеалистахъ».

Секретарь журнала Чулковъ, оставался секретаремъ и въ «Вопросахъ жизни». Онъ уже и при концѣ Нов. Пути перешелъ всецѣло на сторону новой группы. Съ нимъ и съ Булгаковымъ у меня было, — въ декабрѣ, кажется, — единственное журнальное столкновеніе, очень характерное для нашихъ взаимоотношеній и показательное для тогдашняго положенія Блока. Ибо оно вышло какъ разъ изъ-за моей

статьи о Блок'в, первой, кажется. Она была, конечно, о его стихахъ. И вотъ, Чулковъ и Булгаковъ дали мн'в понять, что тема недостаточно общественна, а Блокъ недостаточно зам'вчателенъ, и статейка моя, при новомъ облик'в журнала, не можетъ пойти. Признаюсь, эта нел'впость меня тогда раздосадовала, и правдами и неправдами — зам'втку удалось напечатать. Все-таки это былъ еще Новый Путь! Въ Вопросы Жизни мы больше ни съ ч'вмъ не ходили, конечно, хотя до конца оставались со вс'вми его участниками въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, — съ Бердяевымъ въ особенности.

Но не показательно ли это приключеніе, съ первой моей статьей о Блокѣ, чуть ли не одной изъ первыхъ о немъ вообще? Онъ писалъ четыре года. А въ журналистикѣ былъ такъ неизвъстенъ, что и говорить о немъ не считалось нужнымъ!

Со всѣми памятными датами тѣхъ временъ у меня больше связывается образъ Бугаева, чѣмъ Блока. Связывается внѣшне, ибо по странной случайности Боря, который сталъ часто ѣздить въ Петербургъ и останавливался у насъ, являлся непремѣнно въ какой-нибудь знаменательный день. Было ли это 9 января или 17 октября, или еще что-нибудь вродѣ (въ самый послѣдній разъ, увы, тоже случилось 1—2—3 марта 1917 г.) — помню обязательно тутъ же гибкую фигуру Бори, изумленно-косящіе голубые глаза, слышу его своеобразныя рѣчи, мѣткія

и дътскія словечки... Боря все видълъ, вездъ былъ, все понялъ — по своему, конечно, и въ его восторженность вплетается иронія.

Навзжая въ Петербургъ, Боря постоянно бывалъ у Блока. Разсказывалъ ли мив онъ о Блокв? Въроятно. Однако я не помню, чтобъ онъ говорилъ мив о томъ, какъ отражаются на Блокв событія. Разъ онъ мив прочелъ (или показалъ) новое стихотвореніе Блока, гдв рифмовало «ницъ» и «царицу». Стихотвореніе было хорошее, но рифма меня не очаровала.

- Вамъ нравится, Боря, это «цариц-у»? Онъ неистово захохоталъ, подпрыгнулъ, чуть ли въ ладоши не захлопалъ:
- Да, да, это именно y-y-y! Какъ тутъ нравиться, когда цариц-y-y-y!

Вотъ въ такихъ пустякахъ являлся тогда Блокъ между нами.

11

Зима 1905—1906 года, — послѣдняя зима передъ нашимъ отъѣздомъ заграницу надолго, — памятна мнѣ, въ концѣ, частыми свиданіями уже не съ Блокомъ только, но съ нимъ и съ его женой. Какъ случилось наше знакомство — не знаю, но помню часто ихъ всѣхъ трехъ у насъ (Боря опять пріѣхалъ изъ Москвы), даже ярче всего помню эту красивую, статную,

крупную женщину, прелестную тъмъ играющимъ свътомъ, которымъ она тогда свътилась.

Въ февралъ мы уъхали, разставшись со всъми очень дружески, даже нъжно.

Но по какимъ-то причинамъ, неуловимымъ — и понятнымъ, ни съ къмъ изъ нихъ, даже съ Борей, у меня переписки не было. Такъ, точно оборвалось.

12

Со свѣдѣніями о Россіи, много, конечно, приходило къ намъ и вѣстей о Блокѣ. Съ одной стороны — о его общественныхъ выступленіяхъ, участіи въ газетѣ А. Тырковой, очень недолгомъ, правда, и окончившемся какъ-то неожиданно. Съ другой извѣстія о вневапной его чуть не славѣ въ буйно-завившейся послѣ революціи литературной средѣ, театръ Коммиссаржевской, Балаганчикъ...

Но все это смутно, изъ вторыхъ, третьихъ рукъ. И только однажды, на нѣсколько мѣсяцевъ, Блокъ выступилъ изъ тумана. По крайней мѣрѣ имя его стало у насъ постоянно повторяться.

Кто-то поввонилъ къ намъ, днемъ.

«Monsieur»... не понимаю имени. Выхожу въ переднюю. Тамъ стоитъ, прислонившись къ стѣнѣ, въ нѣмецкой черной пелеринѣ, — и въ самомъ несчастномъ видѣ, — Боря Бугаевъ.

Явленіе весьма неожиданное въ нашей парижской квартиръ.

Оказалось, что Боря ужъ давно странствуетъ заграницей. Не понять было сразу, какъ, что, зачѣмъ, почему. Шатался — именно шатался, — по Германіи. Вывезъ оттуда гетры, пелерину и трубку. Теперь пріѣхалъ въ Парижъ. Видъ имѣлъ не улыбающійся, растерянный. Сказалъ, однако, что намѣренъ остаться въ Парижѣ на неопредѣленное время.

И остался. Жить въ нашей парижской квартирѣ было негдѣ, и онъ поселился недалеко, въ маленькомъ пансіончикѣ, — мы видались, конечно, всякій день.

Скажу въ скобкахъ, что въ этомъ пансіончикъ онъ ежедневно завтракалъ... съ Жоресомъ! И, въ концъ концовъ, они познакомились, даже вели постоянные долгіе разговоры. Боже мой, — о чемъ? Но воистину не было человъка, съ которымъ не умълъ бы вести долгихъ разговоровъ Боря Бугаевъ!

13

Объ этихъ мѣсяцахъ съ Борей въ Парижѣ, о нашихъ прогулкахъ по городу и бесѣдахъ, не стоило бы здѣсь говорить, если бы темой этихъ бесѣдъ не былъ, почти постоянно, — Блокъ.

Мой интересъ къ Блоку, въ сущности, не осла-

бъвалъ никогда. Мнъ было пріятно какъ бы вызывать его присутствіе (человъкъ, о которомъ думаешь или говоришь, всегда немного присутствуетъ). То, что Боря, вчерашній страстный другъ Блока, былъ сегодня его такимъ же страстнымъ врагомъ, — не имъло никакого значенія.

Да, никакого, хотя я, можеть быть, не сумъю объяснить, почему. Надо знать Борю Бугаева, чтобы видъть, до какой степени легки повороты его души. Сама вертится; и это его душа вертится, туда сюда, совсъмъ неожиданно, — а въдь Блокъ тутъ не при чемъ. Блокъ остается какъ былъ, неизмъняемымъ.

Надо знать Борю Бугаева, понимать его, чтобы не обращать никакого вниманія на его отношеніе къ человѣку въ данную минуту. Вотъ, онъ говоритъ, что любитъ кого-нибудь; съ блескомъ и проникновеніемъ рисуетъ онъ образъ этого человѣка; а я уже знаю, что завтра онъ его же будетъ ненавидѣть до кровомщенія, до желанія убить... или написать на него пасквиль; съ блескомъ нарисуетъ его образъ темными красками... Какое же это имѣетъ значеніе, — если, конечно, думать не о Бугаевѣ, а о томъ, на кого направлены стрѣлы его любви или ненависти?

Какъ бы то ни было, эти мѣсяцы мы прожили, благодаря Бугаеву, въ атмосферѣ Блока. И хотя отношеніе мое къ Бугаеву самое было доброе, на мнѣ нѣтъ участія грѣха въ мгновенной перемѣнѣ его къ Блоку. Боря вѣдь и мой былъ «другъ»... такой же всегда потенціально-предательскій. Онъ — Боря Бугаевъ.

А Блокъ, сдѣлавшись болѣе понятнымъ со всѣхъ сторонъ, — сдѣлался мнѣ ближе. Опять думалось: какіе разные люди, эти два «друга», два русскіе поэта, оба одного и того же поколѣнія и можетъ быть связанные одной и той же, — неизвѣстной, — судьбой...

14

Снова Петербургъ. Та же комната, та же лампа на столикъ, отдъляющемъ мою кушетку отъ кресла, гдъ сидитъ тотъ же Блокъ.

Какъ-будто и не было этихъ годовъ... Нѣтъ, нѣтъ, какъ-будто прошло не три года, а три десятилѣтія.

Лишь понемногу я нахожу въ Блокѣ старое, неизмѣнное, неизмѣняемое. По внѣшности онъ измѣнился мало. Но при первыхъ встрѣчахъ чувствовалось, что мы еще идемъ другъ къ другу издадека, еще не совсѣмъ узнаемъ другъ друга. Кое-что забылось. Многое не знается. Мы жили — разнымъ.

Скоро вспомнилась инстинктивная необходимость говорить съ Блокомъ особымъ языкомъ — о к о л о словъ. Тутъ неизмѣнность. Сталъ ли Блокъ «взрослымъ»? У него есть, какъ-будто, новыя выраженія и

сужденія — «общія»... Нѣтъ, и это лишь внѣшность. Такъ же мучительно-вадумчивы и медленны его рѣчи. А каменное лицо этого, нынѣ такого извѣстнаго и любимаго поэта, еще каменнѣе; на немъ печать удивленнаго, недобраго утомленія. И одиночества, не смиреннаго, но и не буйнаго, — только трагичнаго.

Впрочемъ, порою, что-то въ немъ новое настойчиво горѣло и волновалось, хотѣло вырваться въ слова — и не могло, и тогда глаза его дѣлались недоумѣнно, по-дѣтски, огорченными.

Блокъ читаетъ мнѣ свою драму, самую—до сихъ поръ! — неизвѣстную вещь изъ своихъ произведеній. (Не помню ее ни въ печати, ни на сценѣ.) По тогдашнему моему впечатлѣнію — она очень хороша, несмотря на неровность, условность, порою дикость. Его позднѣйшая пьеса, «Роза и Крестъ», — какая сравнительно слабая и узкая!

Эта — въ прозъ. Заглавія не помню, — мы, говоря о ней, называли ее «Фаиной», по имени героини. Блокъ читаетъ, какъ говоритъ: глухо, однотонно. И это даетъ своеобразную силу его чтенію.

Очень «блоковская вещь». Чѣмъ дальше слушаю, тѣмъ ярче вспоминаю прежняго, юнаго, вѣчнаго Блока. Фаина? Вовсе не Фаина, а все та же Прекрасная Дама, Она, Дѣва радужныхъ воротъ, никогда — земная женщина.

Ты въ поля отошла безъ возврата, Да святится Имя твое...» Нѣтъ, не безъ возврата...

...года проходятъ мимо. Предчувствую: измънишь обликъ Ты».

Я говорю невольно:

— Александръ Александровичъ. **Но въдь это же** не Фаина. Въдь это опять Она.

— Да.

Еще нѣсколько страницъ, конецъ, и я опять говорю, изумленно и увѣренно:

— И въдь Она, Прекрасная Дама, въдь Она — Pocciя!

И опять онъ отвъчаеть такъ же просто:

— Да. Россія... Можеть быть Россія. Да.

Вотъ это и было въ немъ, въ Блокѣ, новое, по своему глубоко и мучительно оформившееся, или полуоформившееся. Налетная послѣреволюціонная «общественность» на немъ не держалась. Въ разговорахъ за столомъ, при другихъ, онъ произносилъ какія-то слова «какъ всѣ», и однако не былъ «какъ всѣ», и съ нашими тогдашними настроеніями, довольно крайними, совсѣмъ не гармонировалъ.

Наединѣ съ нимъ становилось понятнѣй: онъ свое, для себя, выростилъ въ душѣ. Свою Россію, — и ее полюбилъ, и любовь свою полюбилъ — «неска-занную».

Блокъ былъ нездоровъ. Мы повхали къ нему какъ-то вечеромъ, въ маленькую его квартирку на Галерной.

Сжато, уютно, просто; много книгъ. Самъ Блокъ дома сжатый и простой. Л. Д., жена его — очень измѣнилась. Такая же красивая, крупная, — слишкомъ крупная для маленькихъ комнатъ, маленькаго чайнаго стола, — все-таки была не та. Въ ней погасъ играющій свѣтъ, а отъ него шла ея главная прелесть.

Мы внали, что за эти годы она увлеклась театромъ, много работала, ѣздила по Россіи съ частной труппой. Но, повторяю, не это ее измѣняло, да и каботинка въ ней, такой спокойной, не чувствовалась. Въ ней и свѣтъ былъ, но другой, не тотъ, не прежній, и очень вся она была иная.

Помнилась и она, однако, такой, какъ была передъ отъвздомъ нашимъ, и хотвлось съ ними обоими найти хоть какую-нибудь жизненную или общественную связь. Надо сказать, что за время нашего отсутствія въ Петербургъ создалось (изъ остатковъ прежнихъ Религ. Философскихъ собраній) цълое Р. Ф. Общество, офиціально разръшенное. Мы въ немъ принимали, конечно, участіе, — это былъ какъ разъ «сезонъ о Богъ», когда начались наши столкновенія съ эсдеками, (эсдеки и выдумали нелъпое раздъленіе на «богостроителей» и «богоискателей»). Но

Общество, многолюдное и чисто интеллигентское, не удовлетворяло насъ. И мы вздумали создать секцію, нѣчто болѣе интимное, но въ то же время и болѣе широкое по задачамъ. Чтобы обойти цензуру — назвали секцію секціей «по изученію исторіи религій». Непремѣнно хотѣлось привлечь въ эту секцію обоихъ Блоковъ. Блокъ нѣсколько разъ приходилъ къ намъ, когда создавалась секція, былъ чуть ли не однимъ изъ ея «учредителей».

Однако, послѣ нѣсколькихъ засѣданій, и онъ, и жена его — исчезли. Да такъ, что и къ намъ Блокъ пересталъ ходить.

Встрѣчаю гдѣ-то Л. Д-ну.

— Отчего васъ не видно на Гагаринской? (Тамъ собиралась секція). Надоѣло? Заняты?

Отвътъ получаю наивно-прямой, который самъ Блокъ не далъ бы, конечно: на Гагаринской говорятъ о томъ, что... должно быть «несказа́нно».

Въ наивномъ отвътъ была тънь безнадежной правды: и мы поняли, что ни въ какихъ «секціяхъ», даже самыхъ совершенныхъ, Блокъ бывать не будетъ и бывать не можетъ.

16

Въ эти годы, такіе внѣшне-шумные, порою суетливые, такіе внутренне-трудные, тяжелые и сосредоточенные, — я помню Блока все время около насъ,

но не съ нами; не въ нашей жизни — а близъ нея. У меня была потребность видъть его; очевидно была она и у него, — онъ приходилъ часто. Но всегда одинъ и тогда, когда мы бывали одни. Приходилъ надолго; мы васиживались съ нимъ — иногда и наединъ — до повдней ночи. Читалъ мнъ свое, или просто говорили... о чемъ? Не о стихахъ, не о людяхъ, не о немъ, — а то, пожалуй, и о стихахъ, и о людяхъ, и о немъ, въ особомъ аспектъ, какъ über die letzten Dinge — какъ «о самыхъ, важныхъ, послъднихъ вещахъ» — о к о л о нихъ, разумъется.

Намъ, конечно, извѣстно было то, что говорили о Блокѣ: говорили, что онъ «кутитъ»... нѣтъ, что онъ пьетъ, уходя одинъ, пропадая по цѣлымъ ночамъ.. Удивлялись: одинъ! Точно это было удивительно. Не удивительно; а если важно — то не само по себѣ, а вотъ то, что тутъ опять и Блоковское одиночество, трагичность — и «незащищенность»... отъ рока, отъ трагедіи?

Между нами разговора объ этомъ не было. Да и зачѣмъ? Были его стихи.

Еще менъе, чъмъ о немъ, говорили мы обо мнъ. Никогда, кажется, слова не скавали. Разъ, онъ пришелъ, — на столъ лежала рукопись второй книжки моихъ стиховъ, приготовленная къ печати. Блокъ сталъ смотръть ее, очень внимательно (хотя всъ стихи онъ уже вналъ давно).

Я говорю:

- Хотите, А. А.? Выберите, какіе вамъ больше нравятся, я вамъ ихъ посвящу.
 - Можно? Очень хочу.

Долго сидѣлъ за столомъ. Выбралъ нѣсколько одно за другимъ. Выбралъ хорошіе или плохіе— не знаю, во всякомъ случаѣ тѣ, которые мнѣ были дороже другихъ.

17

А вотъ полоса, когда я помню Блока простого, человъчнаго, съ небывало-свътлымъ лицомъ. Вообще — не помню его улыбки; если и была — то скользящая, незамътная. А въ этотъ періодъ помню именно улыбку, озабоченную и нъжную. И голосъ точно другой, теплъе.

Это было, когда онъ ждалъ своего ребенка, а больше всего — въ первые дни послъ его рожденія.

Случилось, и довольно неожиданно (вѣдь мы реальной жизнью мало были связаны) что въ эти серьезные для Блока дни мы его постоянно видѣли, онъ все время приходилъ. Не знаю, кто о женѣ его заботился, и были ли тамъ чьи-нибудь понимающія заботы (говорилъ кто-то послѣ, что не было). Мы едва мелькомъ слышали, что она ожидаетъ ребенка. Разъ Блокъ пришелъ и разсказалъ, что ей вдругъ стало дурно и онъ отвезъ ее въ лечебницу. «И что же?» спрашиваемъ. «Ничего, ей теперь лучше».

День за день; наступили необыкновенно трудные роды. Почему-то я помню ночные телефоны Блока изъ лечебницы. Наконецъ, однажды, поздно, изв'єстіе: родился мальчикъ.

Почти всё последующіе дни Блокъ сидёлъ у насъ вотъ съ этимъ светлымъ лицомъ, съ улыбкой. Ребенокъ былъ слабъ, отравленъ, но Блокъ не верилъ, что онъ умретъ: «онъ такой большой». Выбралъ имя ему, — Дмитрій, въ честь Менделева.

У насъ въ столовой, за чаемъ, Блокъ молчитъ, смотритъ не по-своему, свътло — и разсъянно.

- О чемъ вы думаете?
- Да вотъ... Какъ его теперь... Митьку... воспитывать?..

Митька этотъ бъдный умеръ на восьмой или десятый день.

Блокъ подробно, прилежно, разсказывалъ, объяснялъ, почему онъ не могъ жить, долженъ былъ умереть. Просто очень разсказывалъ, но лицо у него было растерянное, не върящее, потемнъвшее сразу, испуганно-изумленное.

Еще пришелъ нѣсколько разъ, потомъ пропалъ.

Уже долгое время, когда Л. Д. совсѣмъ поправилась, они пріѣхали къ намъ оба, прощаться: уѣзжаютъ заграницу. «Рѣшили немножко отдохнуть, другія мѣста повидать»...

У обоихъ лица были угасшія и визитъ былъ ненужный, сърый. Все казалось ненужнымъ. По-

гасла какая-то надежда. Захлопнулась едва пріоткрывшаяся дверь.

18

Можетъ быть кто-нибудь удивится, не пойметъ меня: какая надежда для Блока въ ребенкъ? Блокъ—отецъ семейства! Онъ поэтъ, онъ въчный рыцарь, и если дъйствительно былъ «невзрослымъ», то не прекрасно ли это — въчный юноша? Останься сынъ его живъ, — что далъ бы онъ поэту? Кое-что это отняло бы, скоръе; замкнуло бы, пожалуй, въ семейный кругъ...

Трудно отвъчать на размышленія такого порядка. Скажу, впрочемъ, одно: Блокъ самъ инстинктивно чувствовалъ, что можетъ дать ему ребенокъ, и какъ ему это нужно. А могъ онъ ему дать кровную связь съ жизнью и от вът ственность.

При всей значительности Блока, при его внутренней человъческой замъчательности, при отнюдь не легкой, но тяжелой и страдающей душъ, я повторяю — онъ былъ безотвътственень. «Невзрослость» его, это нъчто совсъмъ другое, нежели естественная, полная силъ, свътлая юность; а это въчное хожденіе около жизни? а это безкрайнее, безвыходное одиночество? Въ ребенкъ Блокъ почуялъ возможность прикоснуться къ

жизни съ тихой лаской; возможность, что жизнь не отвътить ему гримасой, какъ всегда. Не въ отцовствъ тутъ было дъло: именно въ новомъ чувствъ отвътственности, которое одно могло д о в е р ш и т ь его, какъ человъка.

Совнавалъ ли это Блокъ такъ ясно, такъ грубо, какъ я сейчасъ пишу? Нѣтъ, конечно. Но весь просвѣтлѣлъ отъ одной надежды. И когда она погасла — погасъ и онъ. Вернулся въ свою муку «ничегонепониманья», еще увеличившуюся, ибо онъ не понималъ и этого: зачѣмъ была дана надежда и зачѣмъ была отнята.

19

Своеобразность Блока мѣшаетъ опредѣлять его обычными словами. Сказать, что онъ былъ у м е н ъ, такъ же невѣрно, какъ вопіюще невѣрно сказать, что онъ былъ глупъ. Не эрудитъ — онъ любилъ книгу и былъ очень серьезно образованъ. Не метафизикъ, не философъ — онъ очень любилъ исторію, умѣлъ ее изучать, иногда предавался ей со страстью. Но, повторяю, все въ немъ было своеобразно, угловато, — и неожиданно. Вопросы общественные стояли тогда особенно остро. Былъ ли онъ внѣ ихъ? Конечно, его считали аполитичнымъ и — готовы были все простить ему «за поэзію». Но онъ, находясь внѣ многихъ интеллигентскихъ группировокъ, имѣлъ,

однако, свои собственныя мнѣнія. Неопредѣленныя въ общемъ, рѣвкія въ частностяхъ.

Столкновенія, которыя когда-либо происходили между нами и Блокомъ, были только на этой почвѣ. Мимолетныя, правда: вѣдь общихъ дѣлъ у насъ не было, приходилъ онъ къ намъ одинъ, да и касаться этихъ вопросовъ мы избѣгали. Но подчасъ столкновенія были рѣзкія. Не помню ихъ ясно; о послѣднемъ, главномъ, рѣчь впереди.

Иногда Блокъ совершенно исчезалъ. Возвращаясь разъ въ ярко-солнечный вечеръ, мы заёхали къ нему.

Свѣтлая, какъ фонарикъ, вся бѣлая, квартирка въ новомъ домѣ на Каменноостровскомъ. Какъ непохожа на ту, на Галерной!

Насъ встрѣтила его жена. А Блокъ еще спалъ... Вернулся поздно, — какъ дала намъ понять Л. Д.,— только утромъ. Черезъ нѣсколько времени онъ вышелъ. Блѣдный, тихій, каменный какъ никогда. Мы посидѣли недолго. Было темно въ свѣтлой, словно фонарь, квартиркѣ.

На возвратномъ пути опять вспомнился мнѣ вѣчно пребывающій, вѣчно измѣняющійся обликъ Прекрасной Дамы:

По вечерамъ, надъ ресторанами Горячій воздужъ дикъ и глухъ, И правитъ окриками пьяными Весенній и тлетворный духъ.

И каждый вечеръ, въ чэсъ пазначенный (Иль это только снится мнѣ?)
Дъвичій станъ, шелками схваченный,
Въ туманномъ движется окнъ.
И медленно пройдя межъ пьяными,
Всегда безъ спутниковъ, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И въютъ древними повърьями
Ея упругіе шелка,
И шляпа съ траурными перьями,
И въ кольцахъ узкая рука...

Въ моей душѣ лежитъ сокровище И ключъ порученъ только мнѣ. Ты право, пьяное чудовище! Я знаю: истина въ винѣ.

«Незнакомка» веѣмъ извѣстна; но кто понялъ это стихотвореніе до дна? А вотъ двѣ строки изъ другого, строки страшныя и пророческія:

> О, какъ паду, и горестно, и низко, Не одолъвъ смертельныя мечты!

Ужасъ предчувствія: «измѣнишь обликъ Ты» — исполнялся, но еще далеко было до исполненія. «Она» въ черномъ, не въ бѣломъ платьѣ и не надъ вечерней рѣкой, не подъ радужными воротами, а «межъ пъяными» — о, это еще не такъ страшно. Это еще не все.

Такъ какъ я пишу почти исключительно о томъ Блокѣ, котораго видѣли мои глаза, то сами собой выпадаютъ изъ повѣствованія всѣ разсказы о немъ, о его жизни, — правдивые или ложные, кто разберетъ?

Другъ-врагъ его, Боря Бугаевъ (теперь уже окончательно Андрей Бълый) давно, кажется, опять сталъ его «другомъ». Но я плохо знаю ихъ новыя отношенія, потому что въ посл'єдніе годы передъ войной ръдко видълись мы и съ А. Бълымъ: онъ женился на московской барышнъ (на сестръ ея женился Сергъй Соловьевъ) долго путешествовалъ и, наконецъ, сдѣлавшись яростнымъ послѣдователемъ д-ра Штейнера, поселился съ женой у него въ Швейцаріи. Однажды, провздомъ въ Финляндію (Штейнеръ тогда быль въ Гельсингфорсф) А. Бфлый явился къ намъ. Бритый, лысый (отъ золотого пуха и воспоминаній не осталось) онъ, однако, по существу былъ тотъ же Боря: не ходилъ — а танцовалъ, садился на коверъ, пресмъшно и премило скашивалъ глаза, и такъ же водопадны были его рѣчи, — на этотъ разъ исключительно о д-рѣ Штейнерѣ и антропософіи. А главное — чувствовалось, что онъ такъ же не отвъчаетъ за себя и свои ръчи, ни за одинъ часъ не ручается, какъ раньше. И было скучно.

Съ Блокомъ въ эти вимы у насъ установились

очень правильныя и, пожалуй, близкія отношенія. Приходиль, какъ всегда, одинь. Если днемь, — оставался об'єдать, уходиль вечеромъ.

Нѣсколько разъ являлся за стихами для какихъто изданій, въ которыхъ вдругъ начиналъ принимать дѣятельное участіе: «Любовь къ тремъ апельсинамъ» или сборникъ «Сиринъ».

По моей стихотворной непродуктивности, найти у меня стихи — дѣло нелегкое. Но Блоку отказывать не хотѣлось. И вотъ мы вмѣстѣ принимались рыться въ старыхъ бумагахъ, отыскивая что-нибудь забытое. Если находили тамъ (да если и въ книжкѣ моей), являлось новое затрудненіе: надо стихи переписывать. Тутъ Блокъ съ немедленной самоотверженностью садился за мой столъ и не вставалъ, не переписавъ всего, иногда больше, чѣмъ нужно: такъ, у меня случайно остался листокъ съ однимъ очень старымъ моимъ, никогда не напечатаннымъ, стихотвореніемъ— «Пѣсня о голодѣ», переписанномъ рукой Блока.

Блокъ уже издалъ «Розу и Крестъ», собирался ставить ее въ Москвъ, у Станиславскаго. «Роза и Крестъ» обманула мои ожиданія. Блокъ подробно разсказывалъ мнѣ объ этой пьесѣ, когда только что ее задумывалъ. Въ ней могло быть много плѣнительности и острой глубины. Но написанная — она оказалась слабѣе. Блокъ это зналъ, и со мной о пьесѣ не заговаривалъ. Мнѣ и писать о ней не хотълось.

Каждую весну мы уважали заграницу; лвтомъ возвращались — но Блокъ уже былъ у себя въ деревнв. Иногда лвтомъ писалъ мнв. А осенью опять начинались наши свиданья. Въ промежуткахъ, если проходила недвля-двв, мы разговаривали по телефону, — безконечно, по цвлымъ часамъ. Медлительная рвчь Блока по телефону была еще медлительная рвчь Блока по телефону была еще медлительнве. Какъ вчера помню, — на мое первое «allol» его тяжелый голосъ въ трубку: «здравствуйте», — голосъ, который ни съ чьимъ смвшать было нельзя, и долгія, съ паузами, рвчи. У меня рука уставала держать трубку, но никогда это не было болтовней, и никогда мнв не было скучно. Мы спорили, порою забывая о раздвляющемъ пространствв, о томъ, что не видимъ другъ друга. И разставались, какъ послв свиданья.

22

Война.

Трудно мнѣ изъ воспоминаній объ этихъ вихревыхъ первыхъ мѣсяцахъ и годахъ выдѣлить воспоминаніе о Блокѣ. Ужъ очень сложна стала жизнь. Война встряхнула русскую интеллигенцію, совдала новыя группировки и новыя раздѣленія.

Насколько помню — первое «свиданье» наше съ

Блокомъ послѣ начала войны — было телефонное. Не хотѣлось, — да и нельзя было говорить по телефону о войнѣ, и разговоръ скоро оборвался. Но меня удивилъ возбужденный голосъ Блока, одна его фраза: «вѣдь война — это прежде всего в е с е л о!»

Зная Блока, трудно было ожидать, что онъ отнесется къ войнъ отрицательно; страшило скоръе, что онъ увлечется войной, впадетъ въ тотъ неумъренный военный жаръ, въ который впали тогда многіе изъ поэтовъ и писателей. Его «весело» уже смущало...

Однако, скажу сразу, этого съ Блокомъ не случилось. Друга въ немъ непримиримые, конечно, не нашли. Въдь если на Блока наклеивать ярлыкъ, (а всъ ярлыки отъ него отставали) то все же ни съ какимъ другимъ, кромъ «черносотеннаго», къ нему и подойти было нельзя. Это одно уже заставляло его «принимать» войну. Но отъ «упоенія» войной его спасала «своя» любовь къ Россіи, даже не любовь, а какая-то жертвенная въ нее влюбленность, безпредъльная нъжность. Рыцарское обожаніе... въдь она была для него, въ то время, — Она, въчно обликъ мѣняющая «Прекрасная Дама»...

23

Мы стали вид'ється немного р'єже и, по молчаливому соглашенію, изб'єгали говорить о войн'є. Когда все-таки говорили, — спорили. Но потомъ споръ

обрывался. Упирались, какъ въ стѣну, въ то, что одни называли блоковскимъ «черносотенствомъ», другіе — его «аполитичностью».

Для меня — это была «трагедія безотвѣтственности». И лучше, думалось, этого не касаться...

Ранней весной должна была итти, въ Александринскомъ Театръ, моя пьеса «Зеленое Кольцо». (Исторія ея постановки съ Савиной, Мейерхольдомъ и т. д. сама по себъ любопытна и характерна; но къ Блоку отношенія не имъетъ и я ее опускаю). Блокъ пьесу зналъ еще въ рукописи. Она ему почемуто особенно нравилась.

Шли репетиціи; ни на одну мнѣ не удавалось попасть. Ихъ назначали по утрамъ. Случайно единственную назначили вечеромъ. Принесли извѣщеніе, когда у насъ сидѣлъ Блокъ.

- Хотите, поъдемте вмъстъ? говорю ему. Заъзжайте за мною, и назадъ привезите. Не хотите пусть Мейерхольдъ обижается, не поъду.
- A меня не погонять? съ шутливой опаской спросиль Блокъ, и сейчасъ же согласился.

Былъ февраль. Еще холодно, не очень снѣжно. Ѣдемъ въ автомобилѣ по ровной, какъ стрѣла, Сергіевской, — полутемной (война!). Я, кажется, убѣждаю Блока не писать въ «Лукоморьѣ» (нововременскій журналъ). Потомъ переходимъ на театръ. Я не вѣрю въ театръ. Не долженъ ли онъ непремѣнно искажать написанное? — Вы были довольны, А. А., вашими пьесами у Коммиссаржевской?

Блокъ молчитъ. Потомъ съ твердостью произноситъ.

— Нѣтъ. Меня оскорбляло.

Кажется, и онъ не въритъ въ театръ.

Въ темной залѣ, невидные, мы просидѣли вмѣстѣ съ Блокомъ всѣ акты (3-й, съ Савиной, не репетировался). Конечно, чепуха. Привыкнувъ играть любовниковъ — актеры не могли перевоплотиться въ гимназистовъ. Когда одинъ, передъ поцѣлуемъ, неожиданнымъ (по смыслу) для него самого, вдругъ сталъ озираться, даже заглянулъ за портьеру, Блокъ прошепталъ мнѣ: «это ужъ какая-то порнографія!»

Лучше другихъ была Рощина-Инсарова. Но и она не удовлетворяла Блока. Въ первомъ перерывъ онъ ей послалъ записочку: «с просите Блока. Онъ вамъ хорошо скажетъ».

Кажется, они потомъ долго разговаривали.

Мейерхольдъ былъ въ ударѣ. Собралъ всѣхъ актеровъ въ фойе, произнесъ горячую назидательную рѣчь. И мы уѣхали съ Блокомъ домой, пить чай.

24

Блокъ не пошелъ на войну. Зимой 15—16 года онъ жилъ уединенно, много работалъ. У меня въ

эту зиму, по воскресеньямъ, собиралось много молодежи, самой юной, — больше всего поэтовъ: ихъ внезапно расплодилось неистовое количество. Одинъ приводилъ другого, другой еще двухъ, и такъ далѣе, — пока ужъ не пришлось подумать о нѣкоторомъ сокращеніи. Иныхъ присылалъ Блокъ; этимъ всегда было мѣсто. Блокъ интересовался моими сборищами и часто звонилъ по телефону въ воскресенье вечеромъ.

Приходилъ же, какъ всегда, когда не было никого. Разъ, случайно — днемъ — столкнулся у насъ съ Марьей Федоровной (женой Горькаго). Она у насъ вообще не бывала; очевидно, дѣло какое-то оказалось, какой-нибудь сборникъ — не внаю. Мы иногда встрѣчались съ нею и съ Горькимъ въ эти зимы у разныхъ людей (Горькій заѣзжалъ и къ намъ — чуть ли не предлагалъ стихи мои издать, но мы это замяли).

Жена Горькаго, впослѣдствіи усердная «комиссарша» совдепскихъ театровъ, была, пока-что, просто врѣлыхъ лѣтъ каботинка, на всѣхъ набѣгавшая, какъ безпокойная волна.

Вижу ее и Блока сидящими за чайнымъ столомъ другъ противъ друга. Пяти минутъ не прошло, какъ ужъ она на Блока набъжала съ какими-то весьма умъренными, но «эсдечными», — по Горькому, — миъніями.

Ей удавалось произнести словъ 50—60, пока Блокъ успѣвалъ выговорить четыре. Это его, очевидно, раздражило, и слова, спокойныя, становились, однако, все ръзче.

Марья Федоровна, безъ передышки, наскакивала и стрекотала: — «какъ вы можете не соглашаться, неужели вы не знаете положенія, кромѣ того общество... кромѣ того правительство... цензура не повволяеть... честные элементы... а она... они... ихъ... оно»... Блокъ, словно деревяннымъ молоткомъ стучалъ, упрямо: «Такъ и надо».

Съ художественной точки врѣнія, эта сцена была любопытна, однако мы вздохнули свободнѣе, когда она кончилась, и Марья Федоровна уѣхала.

Уѣхала, но съ Блока не сошло упрямство. Онъ и безъ нея продолжалъ твердить то же, въ томъ же духѣ, ни на пядь не уступая. Доконала она, видно, его. Мы постарались совсѣмъ повернуть разговоръ. Не помню, удалось ли это.

25

Длинная статья Блока, напечатанная въ видъ предисловія къ изданію сочиненій Ап. Григорьева, до такой степени огорчила и пронзила меня, что показалось невозможнымъ молчать. Статья была принципіальная, затрагивала вопросъ очень современный и, на мой взглядъ, важный: о безот в ътствен ност и поэта, художника, писателя—

какъ человѣка. На примѣрѣ Ап. Григорьева и В. Розанова Блокъ старался утвердить эту безотвѣтственность и съ величайшей рѣзкостью обрушивался какъ на старую интеллигенцію съ ея «завѣтами», погубившую, будто бы, Ап. Григорьева (зачѣмъ осуждала безшабашность и перекидничество его), такъ и на нетерпимость (?) новой, по отношенію Розанова. Кстати, восхвалялись «Новое Время» и Суворинъстарикъ (этотъ типичнѣйшій русскій нигилистъ) не смотрѣвшій ни на гражданскую, ни на человѣческую мораль Розанова.

Много чего еще было въ статъ Влока. И въ отвътной моей тоже (впослъдствии напечатанной въ сборникъ «Огни»), — суть ея опредълялась эпиграфомъ:

Поэтомъ можешь ты не быть Но человъкомъ быть обязанъ.

Печатать статью, не прочтя ея раньше Блоку, мнѣ и въ голову, конечно, не приходило. Мы сговорились съ нимъ, — это было поздней весной 16-го года, — и онъ явился вечеромъ, — свѣтлымъ, голубѣющимъ, теплымъ: помню раскрытыя, низкія окна на Сергіевскую, на весеннія деревья Таврическаго парка, за близкой рѣшеткой.

Мнѣ памятенъ этотъ вечеръ со всѣми его случайностями. Когда мы еще сидѣли въ столовой, — въ передней, рядомъ, позвонили, и вбѣжала незна-

комая заплаканная дѣвушка. Бросилась ко мнѣ, забормотала, всхлипывая:

— Защитите меня... Меня увозять, обманомь... Вы написали «Зеленое Кольцо»... вы поймете...

И вдругъ, взглянувъ въ открытую дверь столовой, вскрикнула:

— Вотъ, у васъ А. А. Блокъ... Онъ тоже защититъ, поможетъ мнъ... Умоляю, не отдавайте меня ему...

Блокъ вышелъ въ переднюю. Мы стояли съ нимъ оба безпомощные, ничего не понимая. Дѣвушка, неизвѣстная и Блоку, была явно нервно-разстроена. Не знаю, чѣмъ бы это кончилось, но тутъ опять позвонили и вошелъ «онъ», братъ дѣвушки, очень нѣжно сталъ уговаривать ѣхать съ нимъ — домой (какъ онъ говорилъ). Общими силами мы ее успокоили, уговорили, отправили.

Впосл'єдствіи узналось, что д'євушка, хоть и д'єйствительно нервно-разстроенная, не совс'ємь была неправа, спасаясь отъ брата. Темная какая-то исторія, съ желаньемъ братьевъ, изъ расчета, упрятать сестру въ л'єчебницу... Темная исторія.

Но что мы могли сдѣлать? Могъ ли когда-нибудь человѣкъ помочь человѣку?

Мы, однако, невольно омрачились. И безъ того грусть и тревога дежали на душъ.

Все это было, кажется, въ послѣдній, Въ послѣдній вечеръ, въ вешній часъ. И плакала безумная въ передней О чемъ-то умоляя насъ. Потомъ сидѣли мы подъ лампой блеклой, Что золотила тонкій дымъ. А позднія, распахнутыя стекла Отсвѣчивали голубымъ...

Въ моемъ кабинетѣ, подъ этой «блеклой» лампой, медленно куря одну тонкую папиросу за другой, Блокъ выслушалъ мои о немъ довольно рѣзкія строки. Мнѣ хотѣлось стряхнуть съ насъ обоихъ безпредметную грусть этого свиданія. Лучше спорить, горячиться, сердиться...

Споръ былъ, но и онъ вышелъ грустный. Блокъ возражалъ мнѣ, потомъ вдругъ замолчалъ. Черезъ минуту заговорилъ о другомъ, — но понятно было, что не о другомъ, о томъ же, только не прямо о предметѣ, а какъ всегда онъ говоритъ — о к о л о.

Не хотѣлось говорить и мнѣ. Да, все это такъ, и нельзя не требовать отъ каждаго человѣка, чтобы онъ былъ человѣкомъ, и не могу я отъ Блока этого не требовать, но... какъ больно, что я не могу и не перестану! Въ эту минуту слабости и нѣжности хотѣлось невозможнаго: чтобы прощалось, вотъ такимъ, какъ Блокъ, непрощаемое. Точно отъ прощенія чтонибудь измѣнилось бы! Точно свое непрощаемое, свою трагедію, не несъ Блокъ въ самомъ себѣ!

Мы сидъли поздно, совсъмъ заголубъли окна;

никогда, кажется, не говорили мы такъ тихо, такъ близко, такъ печально.

Даже на пустынной улицѣ, около свѣжаго сада, онъ еще остановился, и мы опять говорили о чемъ-то, о садѣ, о веснѣ, опять по-ночному тихо, — окна у меня были низкія.

...Ты, выйдя, задержался у рѣшетки, Я говорилъ съ тобою изъ окна. А вѣтви юныя чертились четко На небѣ — зеленѣй вина. Прямая улица была пустынна. И ты ушелъ въ нее, — туда... Я не прощу. Душа твоя невинна. Я не прощу ей — никогда.

Вернувшись осенью 16-го года въ Петербургъ изъ деревни, мы узнали, что Блокъ, если не на фронтѣ — то недалеко отъ фронта: служитъ въ Земско-Городскомъ Союзѣ. Вѣсти о немъ приходили хорошія: бодръ, дѣятельно работаетъ, загорѣлъ, постоянно на лошади... Мать сообщала мнѣ, что очень довольна его письмами, хотя они кратки: — некогда.

26

Я, можеть быть, увлекаюсь и влоупотребляю подробностями встрѣчь моихъ съ Блокомъ. Но комунибудь ивъ любящихъ его память, будуть интересны и онъ. Теперь доскавать осталось не много.

Дни революціи. Въ самый острый день, а для насъ даже въ самый острый моментъ (протопоповскіе пулеметы съ крышъ начали стрѣлять въ наши окна, то съ улицы, то со двора) — внезапное появленіе Б. Бугаева — Андрея Бѣлаго. (Онъ уже съ годъ какъ прівхаль изъ Швейцаріи въ Москву, одинъ, говорилъ, что въ виду призыва, но на войну не пошелъ. Связался съ издательствомъ одной темной личности — Ив. Разумника, что-то писалъ у него, ѣздилъ къ нему въ Царское Село). Въ этотъ день онъ мирно ъхалъ изъ Царскаго, гдъ было еще тихо, и обалдълъ, выйдя изъ вагона прямо на улицы революціоннаго города. Въ шубѣ до пятъ — онъ три часа волокся къ намъ пъшкомъ, то и дъло заваливаясь подъ заборы, въ снътъ, отъ выстръловъ. Такъ обезножель, что у насъ въ квартире и остался (да и выйти побаивался).

Опять вижу въ эти дни танцующую походку, изумленно-скошенные глаза, гомерическія рѣчи и вскрики: «да-да-да, теперь русскій флагъ — будетъ красный флагъ? Правда? Правда, надо, чтобъ былъ красный?»

Безъ моего погибшаго дневника не могу возстановить даты, но скоро, очень скоро послѣ революціи, черезъ недѣлю или двѣ, — вотъ Блокъ, въ защиткѣ, которая его очень измѣняетъ, взволнованно шагающій по длинной моей комнатѣ. Онъ пріѣхалъ

съ фронта, или оттуда, гдѣ онъ находился — близъ сѣверо-западнаго фронта.

» Въ торопливо-радостные дни эти все было радостно и спѣшно, люди приходили, уходили, мелькали, текли, — что запоминалось? что забывалось?

Но Блокъ, въ высокихъ сапогахъ, стройно схваченный защиткой, непривычно быстро шагающій по моему ковру, — ярко помнится; и слова его помнятся, все тѣ же онъ повторялъ:

— Какъ же теперь... ему... русскому народу... лучше послужить?

Лицо у него было не просвътленное; мгновеньями потерянное и недоумънное; все кругомъ было такъ непохоже на прежнее, несоизмъримо съ нимъ; почему вдругъ вспомнилось лицо Блока, тоже растерянное, только болъе молодое и свътлое, и слова:

— Какъ же теперь... его... Митьку... воспитывать?

Тогда только промелькнуло; а теперь, когда вспоминаю это воспоминаніе— мнѣ страшно. Можетъ быть и тутъ для Блока пріоткрылась дверь надежды? Слишкомъ поздно?

27

Наступилъ періодъ, когда я о Блокѣ ничего не помню. Кажется, онъ опять уѣхалъ къ мѣсту службы. Потомъ мы уѣхали на нѣсколько недѣль на Кавказъ. Тамъ — два-три письма изъ Москвы, отъ А. Бѣлаго. По обыкновенію — сумасшедшеталантливыя, но съ какимъ-то непріятнымъ привкусомъ и уклономъ. Съ восторгами насчетъ... эсъдековъ. Съ туманными, но противными прорицаніями. Что же спрашивать съ Бѣлаго? Онъ всегда въ драмѣ — или мелодрамѣ. И ничего особенно ужаснаго и значительнаго отсюда не происходитъ.

Наше возвращеніе. Корниловская исторія, — ее мы переживали изнутри, очень близко, и никакъ не могли опомниться отъ лжи, въ которую она была заплетена (и до сихъ поръ заплетена). Видълись ли мы съ Блокомъ? Въроятно, мелькомъ; потому, думаю, въроятно видълись — что мой телефонъ осенью, совершенно поразившій меня, былъ дъйствіемъ простымъ, какъ-будто и не первой встръчей послъ весны.

Конецъ, провалъ, крушеніе уже не только предчувствовалось — чувствовалось. Мы всѣ были въ агоніи. Но что жъ, смириться, молчать, ждать? Всѣ хватались за что кто могъ. Не могли не хвататься. Савинковъ, ушедшій изъ правительства послѣ Корнилова, затѣвалъ антибольшевицкую газету. Ему удалось сплотить порядочную группу интеллигенціи. Почти всѣ видные писатели дали согласіе. Приглашенія многихъ были поручены мнѣ. Если приглашеніе Блока замедлилось чуть-чуть, то какъ разъ потому, что въ Блокѣ-то ужъ мнѣ и въ голову не приходило сомнѣваться.

Все это было въ началѣ октября. Вечеромъ, въ свободную минутку, ввоню къ Блоку. Онъ отвѣчаетъ тотчасъ же. Я, спѣшно, кратко, точно (время было телеграфическое!) объясняю, въ чемъ дѣло. Зову къ намъ, на первое собраніе.

Паува. Потомъ:

- Нътъ. Я, должно быть, не приду.
- Отчего? Вы заняты?
- Нътъ. Я въ такой газетъ не могу участвовать.
- Что вы говорите! Вы не согласны? Да въчемъ же дъло?

Во время паузы быстро хочу сообразить, что происходить, и не могу. Предполагаю кучу нелѣ-постей. Однако не угадываю.

- Вотъ война, слышу глухой голосъ Блока, чуть-чуть болѣе быстрый, немного разсерженный. Война не можетъ длиться. Нуженъ миръ.
- Какъ... миръ? Сепаратный? Теперь съ нъмцами миръ?
- Ну да. Я очень люблю Германію. Нужно съ ней заключить миръ.

У меня чуть трубка не выпала изъ рукъ.

— И вы... не хотите съ нами... Хотите заключать миръ... Ужъ вы, пожалуй, не съ большевиками ли?

Все-таки, и въ эту минуту, вопросъ мнѣ казался абсурднымъ. А вотъ что отвѣтилъ на него Блокъ (который былъ очень правдивъ, никогда не лгалъ):

— Да, если хотите, я скорѣе съ большевиками. Они требуютъ мира, они...

Тутъ ужъ трудно было выдержать.

- А Россія?!.. Россія?!..
- Что жъ Россія?
- Вы съ большевиками, и забыли Россію. Вѣдь Россія страдаетъ!
 - Ну, она не очень-то и страдаетъ...

У меня духъ перехватило. Слишкомъ это было неожиданно. Съ Блокомъ много чего можно ждать, — но не этого же. Я говорю спокойно:

— Александръ Александровичъ. Я понимаю, что Боря можетъ... Если онъ съ большевиками — я пойму. Но въдь онъ — «потерянное дитя». А вы! Я не могу повърить, что вы... Вы!

Молчаніе. Потомъ вдругъ, точно другой голосъ, такой измѣненный:

— Да вѣдь и я... Можетъ быть, и я тоже... «потерянное дитя»?

Такъ эти слова и остались звенъть у меня въ ушахъ, послъдній мой телефонъ съ Блокомъ:

«Россія не очень и страдаеть... Скорѣе ужъ съ большевиками... А если и я «потерянное дитя?»

О катастрофѣ не буду, конечно, распространяться. Прошла зима, страшнѣе и позорнѣе которой ранѣе никогда не было. Да, вотъ это забываютъ обыкновенно, а это надо помнить: большевики — позоръ Россіи, несмываемое съ нея никогда пятно,

даже страданіями и кровью ея праведниковъ несмываемое.

...Но и такой, моя Россія, Ты всёхъ краевъ дороже мнъ!

Къ счастью, Блокъ написалъ эти строчки задолго до большевизма, и «такая» — не значитъ (въ этомъ стихотвореніи) «большевицкая». Однако — чѣмъ утѣшаться? Сомнѣній не было: Блокъ съ н и м и. Съ ними же, явно, былъ и Андрей Бѣлый. Оба писали и работали въ «Скивахъ» — издательствѣ этого переметчика — не то лѣваго эсъ-эра, не то ужъ партійнаго большевика — Ив. Разумника.

Слышно было, что и въ разныхъ учрежденіяхъ они оба добровольно работаютъ. Блокъ вмѣстѣ съ Луначарскимъ и Горькимъ. Его поэма «12», напечатанная въ этихъ самыхъ Скивахъ, неожиданно кончающаяся Христомъ, ведущимъ 12 красногвардейцевъ-хулигановъ, очень нашумѣла. Нравилось, что красногвардейцевъ 12, что они какъ новые апостолы. Цѣлая литература создалась объ этихъ «апостолахъ» еще при жизни Блока. Навѣрно и его спрашивали, какъ онъ понимаетъ самъ этого неожиданнаго Христа впереди 12-ти. И навѣрно онъ не сказалъ, — «потому что это несказа́нно». Большевики, несказа́нностью не смущаясь, съ удовольствіемъ пользовались «двѣнадцатью»: гдѣ только ни болтались тряпки съ надписью:

Мы на горе всѣмъ буржуямъ Міровой пожаръ раздуемъ.

Даже красноармейцамъ надовло, твмъ болве что міровой пожаръ, хоть и дулся, — не раздувался.

Видали мы и болъе смълые плакаты, изъ тъхъ же «Двънадцати»:

...Эй, не трусь! Пальнемъ-ка пулей въ святую Русь! и еще что-то вродъ.

Не хотѣлось даже и слышать ничего о Блокѣ. Немножко отъ боли не хотѣлось. А думалось часто. Собственно кощунство «двѣнадцати» ему нельзя было ставить въ вину. Онъ не понималъ кощунства. И, главное, не понималъ, что тутъ чего-то не понимаетъ. Вездѣ особенно остро чувствовалъ свое «ничегонепониманье» и былъ тонокъ, а вотъ гдѣ-то здѣсь, около религіи, не чувствовалъ, — и былъ грубъ. И невиненъ въ грубости своей; что требовать отъ Блока, если «христіаннѣйшій антропософъ» А. Бѣлый въ это время написалъ поэму «Христосъ Воскресе», — не имѣвшую успѣха, ибо неудачную, — однако столь ужасную по кощунству, что никакіе блоковскіе красноармейцы въ сравненіи съ ней итти не могли.

Объ А. Бѣломъ думалось съ жалостью преарѣньемъ. О Блокѣ—съ жалостью и болью. Но не всегда. Кощунства — пусть, что съ него тутъ требовать, не понималъ никогда, и не лгалъ, что понимаетъ. Но его Прекрасная Дама? Его Незнакомка? Его Фаина, — Россія, — «платъ узорный до бровей», — его любовь?

И ужъ не боль — негодованіе росло противъ Блока.

> О, какъ паду, и горестно, и низко, Не одолъвъ смертельныя мечты!

> > 28

Мы думали, что дошли до предѣловъ страданья, а наши дни были еще какъ праздникъ. Мы надѣялись на скорый конецъ проклятаго пути, а онъ, самый-то проклятый, еще почти не начался. Большевики, не знавшіе ни русской интеллигенціи, ни русскаго народа, неувѣренные въ себѣ и въ томъ, что имъ позволятъ, еще робко протягивали лапы къ разнымъ вещамъ. Попробуютъ, видятъ — ничего, осмѣлѣютъ. Хапнутъ.

Такъ, весной 18 года они лишь цѣлились запретить всю печать, но еще не рѣшались (потомъ, черезъ годъ, хохотали: и дураки же мы были церемониться!). Антибольшевицкая интеллигенція, — а другой тогда не было, исключенія считались единицами, — оказывалась еще глупѣе, чуть не собиралась бороться съ большевиками «словомъ», угнетеннымъ, правда, но все-таки своимъ. Что его просто-напросто уничтожатъ — она вообразить не могла.

За мѣсяцъ до этого уничтоженія, мнѣ предложили издать маленькій сборникъ стиховъ, все написанное за годы войны и революціи. Небольшая книжка эта, «Послѣдніе Стихи», необыкновенно скоро была отпечатана, въ военной, кажется, типографіи (очень недурно) и затѣмъ все изданіе, цѣликомъ, кому-то продано, — впрочемъ, книгу свободно можно было доставать вездѣ, пока существовали книжные магазины. Очень скоро ее стали рекомендовать какъ «запрещенную».

Упоминаю объ этомъ вотъ почему.

Эту новую бѣленькую книжечку, съ такими опредѣленными стихами противъ «друзей» Блока — трудно было удержаться не послать Блоку. Я думаю все-таки и упрямое невѣріе было, все-таки! что большевики — друзья Блока. Вѣдь это же съ ума сойти!

Одна изъ моихъ юныхъ пріятельницъ — много у меня еще оставалось дружеской молодежи, честной, — вызвалась книжку Блоку отнести. Письма не было, только на первой страницѣ — стихотвореніе, ему посвященное: «Все это было, кажется, въ послѣдній — въ послѣдній вечеръ, въ вешній часъ…» — «…Душа твоя невинна. — Я не прощу ей никогда».

Немного упрекала меня совъсть... «Не прощу», а книгу все-таки посылаю? На что-то надъюсь? На что? Послѣ отвѣта Блока ужъ и надѣяться стало какъ-будто не на что.

Тоненькія сѣрыя книжки... Поэма «12», конечно, и стихотвореніе «Скивы». Туть же и предисловіе Ив. Разумника, издателя... Лучше не говорить о немъ. На одной изъ книжечекъ — стихотвореніе Блока, написанное прямо мнѣ. Лучше не говорить и о немъ. Я его не помню, помню только, что никогда Блокъ такихъ пошлостей не писалъ. Было какъ-то, что каждому своя судьба (или вродѣ), — ...«вамъ — зеленоглавою наядой плескаться у ирландскихъ скалъ» (?) «мнѣ» — (не помню что) и «пѣть Интернаціоналъ»...

Нътъ, кончено, кончено, прячу брошюрки безъ **возврата**, довольно, взорваны мосты...

И еще прошли мъсяцы — какъ годы.

29

Я въ трамвав, идущемъ съ Невскаго по Садовой. Трамваи пока есть, остального почти ничего нѣтъ. Давно нѣтъ никакихъ, кромѣ казенныхъ, газетъ. Журналовъ и книгъ нѣтъ вообще. Гладко.

Нравственная и физическая тяжесть такъ растетъ грозно, что мимо воли тянешься прочь, вонъ изъ Петербурга, въ ту Россію, гдѣ нѣтъ большевиковъ. Вѣрится: у ж е нѣтъ. (А если — е щ е нѣтъ?).

Все равно, мечта — повелительная — не даетъ покоя, тянетъ на свободу.

День осенній, довольно солнечный. Я ѣду съ одной моей юной пріятельницей — къ другой: эта другая — именинница, сегодня 17 сентября по старому стилю.

Мы сидимъ съ III. рядомъ, лицомъ къ заколоченному Гостиному Двору. Трамвай наполняется, на Сѣнной уже стоятъ въ проходахъ.

Первый, кто вошель и сталь въ проходѣ, какъ разъ около меня, вдругъ говоритъ:

— Здравствуйте.

Этотъ голосъ ни съ чьимъ не смѣшаешь. Подымаю глаза. Блокъ.

Лицо подъ фуражкой какой-то (именно фуражка была — не шляпа) длинное, сохлое, желтое, темное.

— Подадите ли вы мнѣ руку?

Медленныя слова, такъ же съ усиліемъ произносимыя, такія же тяжелыя.

Я протягиваю ему руку и говорю:

— Лично — да. Только лично. Не общественно.

Онъ цѣлуетъ руку. И, номолчавъ:

— Благодарю васъ.

Еще помолчавъ:

- Вы, говорять, уважаете?
- Что жъ... Тутъ или умирать или уѣзжать. Если, конечно, не быть въ вашемъ положеніи...

Онъ молчитъ долго, потомъ произноситъ особенно мрачно и отчетливо:

— Умереть во всякомъ положеніи можно.

Прибавляетъ вдругъ:

- Я въдь васъ очень люблю...
- Вы знаете, что и я васъ люблю.

Вагонъ (немного опустѣвшій) давно прислушивается къ странной сценѣ. Мы не стѣсняемся, говоримъ громко, при общемъ молчаніи. Не знаю, что думаютъ слушающіє, но лицо Блока такъ несомнѣнно трагично (въ это время его коренная трагичность сдѣлалась видимой для всѣхъ, должно быть) — что и сцена имъ кажется трагичной.

Я встаю, мнѣ нужно выходить.

- Прощайте, говоритъ Блокъ. Благодарю васъ,
 что вы подали мнѣ руку.
- Общественно между нами взорваны мосты. Вы знаете. Никогда... Но лично... какъ мы были прежде...

Я опять протягиваю ему руку, стоя передъ нимъ, опять онъ наклоняетъ желтое, больное лицо свое, медленно цълуетъ руку, «благодарю васъ»...—и я на пыльной мостовой, а вагонъ проплываетъ мимо, и еще вижу на площадку вышедшаго за мной Блока, различаю темную на немъ... да, темно-синюю рубашку...

И все. Это былъ конецъ. Наша послѣдняя встрѣча на землѣ.

Великая радость въ томъ, что я хочу прибавить. Мои глаза не видали Блока послѣднихъ лѣтъ; но есть два-три человѣка, глазамъ которыхъ я вѣрю, какъ своимъ собственнымъ. Потому вѣрю, что они, такіе же друзья Блока, какъ и я, относились къ «горестному паденію» его съ той же болью, какъ и я. Одинъ изъ нихъ, по природѣ не менѣе Блока вѣрный и правдивый, даже упрекнулъ меня сурово за посылку ему моихъ «Послѣднихъ Стиховъ»:

— Зачѣмъ вы это сдѣлали?

И вотъ я ограничиваю себя — намѣренно — только непреложными свидѣтельствами этихъ людей, только тѣмъ, что видѣли и слышали они.

А видѣли они — медленное возстаніе Блока, какъ бы духовное его воскресеніе, побѣдный конецъ трагедіи. Изъ глубины своего паденія онъ, поднимаясь, достигъ даже той высоты, которой не достигали, можетъ быть, и не падавшіе, остававшіеся твердыми и зрячими. Но Блокъ, прозрѣвъ, увидѣвъ лицо тѣхъ, кто оскорбляетъ, унижаетъ и губитъ его Возлюбленную, — его Россію, — уже не могъ не итти до конца.

Есть ли изъ насъ одинъ, самый зрячій, самый непримиримый, кто не знаетъ за собой, въ петербургскомъ плѣну, хоть тѣни компромисса, просьбы за кого-нибудь Горькому, что ли, кто не ѣдалъ корки соломенной изъ вражьихъ рукъ? Я—знаю. И вкусъ этой корки — пайка проклятаго — знаю. И хрустъ

денегъ совътскихъ, полученныхъ за ненужные переводы никому ненужныхъ романовъ — тоже знаю.

А вотъ Блокъ, въ послѣдніе годы свои, уже отрекся отъ всего. Онъ совсѣмъ замолчалъ, не говорилъ почти ни съ кѣмъ, ни слова. Поэму свою «12» — возненавидѣлъ, не терпѣлъ, чтобъ о ней упоминали при немъ. Пока были силы — уѣзжалъ изъ Петербурга до первой станціи, тамъ гдѣ-то проводилъ цѣлый день, возвращался, молчалъ. Зналъ, что умираетъ. Но — говорили — онъ ничего не хотѣлъ принимать изъ рукъ убійцъ. Родные, когда онъ уже не вставалъ съ постели, должны были обманывать его. Онъ буквально задыхался; и задохнулся.

Подробностей не коснусь. Когда-нибудь, въ свое время, они будутъ извъстны. Довольно сказать здъсь, что страданьемъ великимъ и смертью онъ искупилъ не только всякую свою вольную и невольную вину, но, можетъ быть, отчасти позоръ и гръхъ Россіи.

...И пусть надъ нашимъ смертнымъ ложемъ Взовьется съ крикомъ воронье... Тъ, кто достойнъй, Боже, Боже, Да внидутъ въ царствіе Твое!

Радость въ томъ, что онъ сумѣлъ стать однимъ изъ этихъ достойныхъ. И въ томъ радость, что онъ навѣки нашъ, что мы, сегодняшніе, и Россія будущая, воскресшая, — можемъ неомраченно любить его, живого.

1922.

одержимый

О Брюсовъ

...Но всѣхъ покоряя — ты вѣчно покоренъ: То зеленъ, то красенъ, — то розовъ, то черенъ...

Нѣтъ на свѣтѣ ничего интереснѣе «человѣка». Настоящаго, живого человѣка, созданнаго природой, исторіей (или Богомъ). Но природное (или Божье) творчество необыкновенно тонко, сложно, узоръ его не для всѣхъ уловимъ. Писатели, создавая выдуманныхъ людей, — типы, — и с т о л к овы в а ю т ъ «человѣка» непонимающимъ. Подчеркиваютъ, огрубляютъ тонкія черты, усиливаютъ ввукъ отдѣльной души, или дополняютъ его схожимъ звукомъ другой; бросаютъ краски мазками, пятнами, какъ на декораціяхъ. Это громадное дѣло; его можно дѣлать и геніально, и бездарно...

Въ моихъ «сказкахъ дъйствительности» я не истолковываю «человъка». Я разсказываю о немъ подлинномъ, настоящемъ, какимъ онъ прошелъ передъ моими глазами, — или даже мелькнулъ, —

и какимъ онъ мнѣ показался. Извѣстенъ ли человѣкъ, обладаетъ ли онъ какими-нибудь исключительными талантами, или нѣтъ, — все равно; вѣдь часто самые неизвѣстные, незамѣтные люди бываютъ интереснѣе, какъ люди, знаменитѣйшихъ писателей и общественныхъ дѣятелей.

Я пишу лишь о тѣхъ, съ кѣмъ встрѣчъ уже не жду на этомъ свѣтѣ, — потому ли, что они отошли за его черту, или потому, что отошли за непереступимую для меня черту человѣческую, какъ Брюсовъ-большевикъ, и другіе. Повторяю, впрочемъ, то, что было сказано въ разсказѣ «о Блокѣ»: о живыхъ или о мертвыхъ пишешь — надо говорить правду; и о живыхъ, или о мертвыхъ пишешь — надо о чемъ-то, о какой-то фактической правдѣ, хорошей и дурной, — умолчать. Эти умолчанія не искажаютъ образа. Но не надо прикасаться къ «тайнѣ Личности», которая должна быть, — и все равно будетъ, — сокрыта навсегда.

Поэтъ Валерій Брюсовъ — съ 18-го, кажется, года — коммунистъ. Мало того: онъ сразу же пошелъ въ большевицкую цензурную коммиссію, не знаю, какъ она у нихъ тамъ называется, чуть ли не сдѣлался ея предсѣдателемъ, и заявилъ себя цензоромъ строгимъ, безпощаднымъ, суровымъ. Была у него издана, еще при насъ, брошюрка: «Почему я сталъ коммунистомъ», но мнѣ не попаласъ, да признаться,

и не заинтересовала меня: догадаться, какъ Валерій Брюсовъ сталъ «коммунистомъ», можно и безъ брошюрки, если немного знать автора.

Между нами никогда не было ни дружбы, въ настоящемъ смыслѣ слова, ни внутренней бливости. Видимость, тѣнь всего этого — была. Въ продолженіи долгихъ лѣтъ видались мы постоянно, періодами же работали вмѣстѣ, въ однихъ и тѣхъ же изданіяхъ. Говоря о немъ, я, какъ въ разсказѣ о Блокѣ, ограничусь лишь непосредственными съ нимъ встрѣчами, — по возможности, разумѣется. Если съ Блокомъ у насъ отношенія внутреннія были шире внѣшнихъ, то съ Брюсовымъ даже не наоборотъ, а почти сплошь они были внѣшнія. Но внѣшній обликъ Брюсова такъ характеренъ и такъ проницаемъ для долгаго и внимательнаго взора, — что я врядъ ли ошибусь въ опредѣленіяхъ сущности этой своеобразной души.

Брюсовъ не умеръ физически*). Но, въ виду его даннаго положенія въ большевицкой Россіи, я могу со спокойной совъстью считать, что онъ умеръ для меня и для большинства русскихъ: въдь никакой больше «встръчи» съ нимъ на землъ у меня произойти не можетъ. Поэтому и вызвать изъ прошлаго его тънь (если ужъ вызывать) — дъло вполнъ своевременное.

^{*)} Очеркъ былъ написанъ въ 1921 г. Брюсовъ умеръ въ концъ 1924-го.

Добавлю еще, что Брюсовъ умеръ и какъ поэтъ. Мнѣ это кажется естественнымъ и логичнымъ. Иначе, по-моему, и быть не могло. А сомнѣвающихся я отсылаю къ недавно изданной имъ въ Москвѣ книжкѣ стиховъ, — не просто плохой, а какой-то даже не совсѣмъ вѣроятной: безграмотной.

1

Л'втомъ одного очень дальняго года, 1895 кажется*) въ редакцію «С'ввернаго В'встника» была прислана книжечка «Chefs d'oeuvre».

Подобныхъ книжонокъ, маленькихъ, тоненькихъ, съ заглавіями еще менѣе скромными, присылалось тогда въ редакціи тьма тьмущая: годы «декадентства». Послѣдніе годы, правда, «декадентство» въ чистомъ своемъ видѣ, близилось къ закату. Будущая отвѣтвь, символизмъ, — едва нарождалась. Сологубъ только что начиналъ печатать свои странные и ясные разсказы, новые, и такіе свѣжіе, стихи.

«Шедевры» были несомнѣннымъ декадентствомъ. Все извѣстное, — «нарочное». И вдругъ одно стихотвореніе меня остановило. Называлось оно «Сумасшедшій», содержанія не помню, какъ-будто

^{*)} Заранъе оговариваюсь, что возможны мелкія фактическія неточности, особенно въ датахъ. У меня нътъ подърукой никакого матеріала, ни моихъ записей, ни писемъ.

этотъ сумасшедшій сидълъ подъ мостомъ, или что-то въ родъ...

Увъряю скептическихъ редакціонныхъ критиковъ, что стихотвореніе недурное, что авторъ «явно не безъ таланта».

— Кто онъ? Какая странная фамилія. Неужели псевдонимъ? Напоминаетъ календарь Гатцука: предсказанія Брюса на такой-то годъ...

Вскорѣ мнѣ сообщили, что «Брюсовъ» не псевдонимъ, а настоящая фамилія, что это — очень молодой москвичъ изъ средняго купечества и, кажется, въ Москвѣ имъ интересуются. Въ Москвѣ закатъ «декадентства» еще не чувствовался, стояло оно пока въ зенитѣ.

Литературная Москва и литературный Петербургъ всегда рознились между собою. Не то, чтобы по времени: Москва вовсе не «шла» за Петербургомъ, опаздывая; нѣтъ, разница болѣе сложная, подчасъ неопредѣлимая. Разница въ общемъ темпѣ жизни, въ мѣрѣ размаха, въ различіи вкусовъ. Многое Москва захватывала глубже и переживала длительнѣе. Петербургъ былъ за то зрячѣе и сдержаннѣе.

2

За книжкой «Шедевровъ» очень скоро послѣдовали другія, подписанныя именемъ Брюсова. Туча

«декадентовъ» ограничилась десяткомъ-двумя стихотвореній и разсѣялась. Замолкли. А Брюсовъ не уставаль писать и печатать въ журналы, толстые, его, какъ вообще «декадентовъ», не пускали. Сѣв. Вѣстникъ составлялъ исключеніе, — но онъ былъ въ Петербургѣ!).

Въ эти годы, до 1900, мы въ Москву рѣдко ѣздили, и съ Брюсовымъ познакомились въ Петербургѣ, у насъ.

Скромный, пріятный, в'вжливый юноша; молодость его, впрочемь, въ глаза не бросалась; у него и тогда уже была небольшая черная бородка. Необыкновенно тонкій, гибкій, какъ в'втка; и еще тоньше, еще гибче д'влаль его черный сюртукъ, застегнутый на вс'в пуговицы. Черные глаза, небольшіе, глубоко сидящіе и сближенные у переносья. Ни красивымъ, ни некрасивымъ назвать его нельзя; во всякомъ случа'в интересное лицо, живые глаза. Только, если долго всматриваться, объективно, отвлекшись мыслью, — внезапно поразитъ васъ его сходство съ шимпанзе. В'врно, сближенные глаза при тяжеловатомъ подбородк'в даютъ это впечатл'вніе.

Сдержанность и въжливость его нравились; точно и не «московскій декадентъ»! Скоро обнаружилось, что онъ довольно образованъ и насмъшливоуменъ.

Позъ онъ тогда никакихъ не принималъ, ни наполеоновскихъ, ни демоническихъ; да, сказать

правду, онъ при насъ и впослѣдствіи ихъ не принималъ. Внѣшняя наполеоновская поза — высокоскрещенныя руки, — потомъ вошла у него въ привычку; но и то я помню ее больше на безчисленныхъ портретахъ Брюсова; въ личныхъ свиданіяхъ онъ былъ очень простъ, бровей отъ природы немного нависшихъ, не супилъ, не рисовался. Высокій тенорокъ его, чуть-чуть тенорокъ молодого приказчика или московскаго сынка купеческаго, даже шелъ къ непомѣрно тонкой и гибкой фигурѣ.

3

Онъ сталъ часто наъзжать въ Петербургъ. Послъ каждаго свиданья дълалось все яснъе, что этотъ человъкъ не пропадетъ: помимо талантливости и своеобразнаго ума, у него есть сметка и — упорство. Упорство или воля... это ръшить было трудно.

Не много прошло времени — и вотъ, Брюсовъ, вмѣстѣ съ молодымъ Поляковымъ, создаетъ журналъ «Вѣсы», первый русскій журналъ новаго типа, еще «декадентскій» — но культурный. Вокругъ него, и вокругъ связаннаго съ нимъ издательства «Скорпіонъ», начинаютъ группироваться молодыя силы, всѣ «отверженные» — справедливо и несправедливо—традиціоннымъ русскимъ «толстымъ журналомъ».

Брюсовъ — «декадентъ», но онъ же и «классикъ»:

онъ пушкинистъ, поклонникъ забытаго Тютчева и отошедшаго въ тѣнь Фета. Онъ неутомимо работаетъ надъ изслѣдованіемъ сокровищъ русской поэзіи и освобождаетъ ихъ изъ подъ хлама «либеральщины», какъ онъ говоритъ. Подъ его редакціей въ издательствѣ «Скорпіонъ» начинаютъ выходить сборники «Сѣверные Цвѣты», названные такъ въ память пушкинскихъ «Сѣверныхъ Цвѣтовъ».

Но Брюсовъ, кромѣ того, тянется къ «европеизму». Стремится наладить связь новой русской литературы съ соотвѣтственными уклонами во Франціи и въ Скандинавіи.

Конечно, не Брюсовъ создалъ новыя теченія въ литературѣ. Они создались сами, естественно. Декадентство, символизмъ (къ нему Брюсовъ близко не примкнулъ), принципъ «чистаго» искусства, тяга къ европеизму наконецъ, — все это было неизбѣжной революціей противъ многолѣтняго царствованія наслѣдниковъ Бѣлинскаго и Писарева, приведшаго дѣйствительно къ литературному оскудѣнію.

Ломались старыя рамки. Много при этомъ было и уродливаго, и ненужнаго, — но и неожиданнаго. Молодые работники являлись тогда изъ самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества. Все зависѣло отъ личныхъ способностей и упорства. Вотъ этого упорства и работоспособности, при громадной сметкѣ, у Брюсова оказалось очень много. Онъ по праву занялъ видное мѣсто въ новомъ литературномъ те-

ченіи; изъ него тогдашняго Брюсова не выкинешь. Между тѣмъ, среда и обстановка, изъ которой онъ вышелъ, мало благопріятствовали избранной имъ линіи. Сыну московскаго пробочнаго фабриканта, къ тому же разорившагося, пришлось-таки потрудиться, чтобы пріобрѣсти солидное образованіе и сдѣлаться «европейцемъ» — или похожимъ на европейца. Но брюсовское упорство, догадливый умъ и способность сосредоточенія воли — исключительны; и они служили ему вѣрно.

4

Дѣло въ томъ, что Брюсовъ — человѣкъ абсолютнаго, совершенно бѣшенаго, честолюбія. Я говорю «честолюбія» лишь потому, что нѣтъ другого, болѣе сильнаго слова для выраженія той страстной «самости», самозавязанности въ тугой узелъ, той напряженной жажды всевеличія и всевластія, которой одержимъ Брюсовъ. Тутъ иначе какъ одержимымъ его и назвать нельзя.

Это въ немъ не сразу было видно. Почему? Да потому, что заботливъе всего скрывается пунктъ помъщательства. У Брюсова же, въ этой точкъ, таилось самое подлинное безуміе.

Ну а скрывать, если хотъль онъ что-нибудь скрыть, онъ умълъ. Самые дюжинные безумцы хитры на скрываніе пунктиковъ. А Брюсовъ, крайне ловкій

отъ природы, внѣ этой точки былъ разуменъ, сдержанъ, холодно и остро насмѣшливъ, очень владѣлъ собою. (Говорю о Брюсовѣ тѣхъ первыхъ годовъ). Онъ отлично видѣлъ людей и зналъ, на сколько пуговицъ передъ каждымъ стоитъ застегнуться. Что какое-то безуміе есть въ немъ, сидитъ въ немъ, это видѣли почти всѣ; гдѣ оно, въ чемъ оно, — не видѣлъ почти никто. Принимали огонекъ, мелькавшій порою въ глубоко сидящихъ, сближенныхъ глазахъ, за священное безуміе поэта. Противъ такого воспріятія Брюсовъ, конечно, ничего не имѣлъ. Онъ не прочь былъ даже усилить впечатлѣніе, гдѣ можно, насколько можно. Отсюда его «демоническія» и всякія другія позы.

Честолюбіе можеть быть лишь одной изъ страстей, и въ этомъ случав оно само частично: честолюбіе литературное, военное, ораторское, даже любовное; тогда другія страсти могуть съ нимъ сосуществовать, оставаясь просто себв страстями. Такъ, военное честолюбіе вполнв совмвстимо со страстью къ женщинамъ, или честолюбіе литературное со страстью къ вину, что ли. Но Брюсовское «честолюбіе» — страсть настолько полная, что она, захвативъ всв стороны существованія, могла быть, — и двиствительно была, — единственной его страстью.

Любилъ ли онъ искусство? Любилъ ли онъ женщинъ, вотъ этихъ своихъ «mille e tre»? Нѣтъ, конечно. Чѣмъ онъ могъ л ю б и т ь ? Всесъъдающая страсть, единственная, дѣлала изъ женщинъ, изъ вина, изъ картъ, изъ работы, изъ стиховъ, даже собственныхъ — только рядъ средствъ, средствъ, средствъ... Въ концѣ концовъ и самъ Брюсовъ (какъ это ни парадоксально) долженъ былъ стать для нея средствомъ. Цѣль лишь она.

Въ расцвътъ его успъха — глупые, но чуткіе люди говорили: Брюсовъ х о л о д н ы й поэтъ. Самые «страстные» его стихи не зажигали ихъ. Еще бы! Самые «страстные» стихи его — замъчательно безстрастны: не Эросъ имъ владъетъ. Ему нужна любовь всъхъ mille е tre, всъхъ; и ни одна изъ нихъ сама по себъ, вмъстъ съ любовью, какъ таковой, не нужна. Лишь средства, средства...

Объ остаткахъ, — рудиментарныхъ, — человъческихъ чувствъ въ этой сожженной душъ я скажу дальше.

А пока вернемся къ разсказу.

5

«Секретъ» Брюсова о единой таинственной его страсти не сразу мнъ открылся. Это постепенно опредълилось, когда мы стали чаще видаться.

Къ «Въсамъ» и «Скорпіону» мнъ пришлось стать въ довольно близкія отношенія. Не могу даже вспоминть всъхъ моихъ въ этомъ журналъ псевдонимовъ.

Прівзжая въ Москву (а мы стали вздить туда часто) мы останавливались обыкновенно въ Славянскомъ Базаръ и въ комнатахъ, окна которыхъ выходили, черезъ какой-то дворъ, прямо на гостиницу «Метрополь». Въ Метрополъ, тогда не вполнъ достроенномъ и не открытомъ, помѣщалась редакція «Вѣсовъ». По вечерамъ, какъ только зажгутся знакомыя окна — идемъ туда. Я смѣюсь: ваша редакція — самый новый, самый культурный уголокъ Москвы. И дъйствительно, чего новъе: первыя отдъланныя комнаты еще неоткрытаго, еще пустого, пахнущаго штукатуркой, гигантскаго современнаго отеля. Въ редакціи все чисто, солидно, все блестить. Кое-какія красивыя вещи, книги, рисунки: Поляковъ не даромъ богать, Брюсовь не даромь «искусникь» и «европеець». Чай — въ электрическихъ, тогда еще ръдкихъ, чайникахъ. (Если бъ мнѣ кто-нибудь сказалъ, что черезъ иъсколько лътъ этотъ самый Брюсовъ будетъ «раздувать міровой пожаръ» на «горе всѣмъ буржуямъ»! Впрочемъ, столько случилось невъроятнаго, что очевидно никакихъ нев фроятныхъ вещей н тътъ).

Мы бывали также и у самого Брюсова. Онъ былъ женатъ. Давно, съ самой, кажется, ранней молодости. Жена его, маленькая женщина, полька, необыкновенно обыкновенная; если удивляла она чѣмъ-нибудь — то именно своей незамѣчательностью.

Удивленіе, однако, напрасное, ибо она воистину была зам'вчательна. Еще бы! В'вдь это единственная

женщина, которую во всю жизнь Брюсовъ л ю б и л ъ. При сумасшедше-честолюбивой жаждѣ женскаго успѣха, при утонченной погонѣ за женщинами, при всѣхъ своихъ mille е tre и драмахъ, которыя онъ разыгрывалъ порою до самообмана — любилъ онъ, по-человѣчески, сколько могъ, одну вотъ эту незамѣтную женщину — свою жену. Онъ никогда съ ней не расходился, даже рѣдко разставался. Когда она бывала при смерти, — нѣсколько разъ, при несчастныхъ родахъ, — на Брюсовѣ лица не было, онъ дѣлался неузнаваемъ. Эта любовь, между прочимъ, была причиной и той единственной изъ его драмъ, которой на мгновенье мы стали свидѣтелями. Но о ней потомъ, она случилась гораздо позже.

Въ то время, 1901-2-3 года, Брюсовъ жилъ на Цвѣтномъ бульварѣ, въ «собственномъ» домѣ. Т. е. въ домѣ своего отца, въ отведенной ему маленькой квартиркѣ.

Тутъ ужъ не электрическіе чайники редакціи «Вѣсовъ» style moderne, а самая старинная Москва. Въ калитку стучатъ кольцомъ; потомъ пробираются по двору, по тропинкѣ межъ сугробами; деревянная темная лѣсенка съ обмерзшими, скользкими ступенями. Внутри — маленькія комнатки жарко натоплены, но съ полу дуетъ. Стиль и книги редактора «Вѣсовъ» — и рядомъ какія-то салфеточки вязаныя и кисейныя занавѣсочки.

Насмѣшливое остроуміе, изрѣдка граничащее

со сплетничествомъ, никогда не покидало Брюсова; но у себя онъ былъ особенно живъ, милъ, по-московски радушенъ. Вообще, москвичемъ онъ оставался, несмотря на весь «европеизмъ» — и даже нѣкоторую «космополитическую» позу.

Извѣстный московскій «Кружокъ», душой котораго (да и предсѣдателемъ) долгое время былъ Брюсовъ, — въ 01—02 гг., кажется еще не вполнѣ расцвѣлъ. Мережковскій, когда мы пріѣзжали въ Москву, читалъ лекціи не въ Кружкѣ, а въ какой-то университетской аудиторіи.

Вотъ ужинъ, послѣ одной изъ этихъ лекцій, въ отдѣльной залѣ Славянскаго Базара, за большимъ столомъ. Присутствующіе — профессора, солидные, сѣдоватые, бородатые; но между ними и тонкій молодой Брюсовъ.

Мнѣ особенно ясно запомнился профессоръ Н. Бугаевъ, математикъ, лысый и пріятный*). Онъ, къ общему удивленію, весь вечеръ говорилъ... о чертяхъ. Разсказывалъ, съ хохотомъ, какъ чортъ его на извозчикѣ возилъ и другіе случаи изъ своей жизни, гдѣ чертовское присутствіе обнаруживалось съ несомнѣнностью.

Потомъ Брюсовъ читалъ стихи. Поднялся изъ-за стола и началъ высокимъ теноркомъ своимъ, забирая все выше:

^{*)} Отецъ Б. Бугаева—Андрея Бълаго.

Брюсовъ читаетъ порывисто, съ короткимъ дыханьемъ. Высокій голосъ его, когда переходитъ въ поющіе вскрики, напримѣръ въ концѣ этого же стихотворенія—

Но эту ночь я помню! Помню! дълается почти похожъ на женскій.

6

Естественно, въ силу единой владъющей имъ страсти, Брюсовъ никакого искусства не любилъ и любить не могъ. Но если онъ «считалъ нужнымъ» признавать старыхъ художниковъ, заниматься ими, даже «благоговъть» передъ ними, — то всъхъ своихъ современниковъ, писателей (равно и неписателей, впрочемъ) онъ, уже безъ различія, совершенно и абсолютно презиралъ. Однако природная сметка позволила ему выработать въ отношеніяхъ съ людьми особую гибкость, удивительную тонкость. Даже неглупый человъкъ выносилъ изъ общенія съ Брюсовымъ, изъ бесъды съ нимъ, убъжденіе, что дъйствительно, Брюсовъ всъхъ презираетъ (и подъломъ!)

всѣхъ — кромѣ него. Это, вѣдь, своего рода лесть, и особенно изысканная, бранить съ кѣмъ-нибудь всѣхъ другихъ. А Брюсовъ даже никогда и не «бранился»: онъ только чуть-чуть, прикрыто и понятно, нѣсколькими снисходительно-злыми словами, отшвыривалътого, о комъ говорилъ. А тотъ, съ кѣмъ онъ говорилъ, незамѣтно польщенный брюсовскимъ «довѣріемъ», уже начиналъ чувствовать себя его сообщникомъ.

Очень дъйствительный пріемъ съ людьми, пусть и неглупыми, но неособенно тонкими.

Миѣ — Брюсовъ нравился уже тѣмъ, что былъ такъ ясенъ для меня. Нравилось и презрѣніе, искусно спрятанное, строго послѣдовательное. Безъ него образъ былъ-бы неполнымъ, недостаточно художественнымъ.

7

Мы на Брестскомъ вокзалѣ, въ Москвѣ. «Скорпіоны» провожаютъ насъ заграницу.

Опять мы съ Брюсовымъ болтаемъ... о стихахъ. О, не о поввіи, конечно, а именно о стихахъ. Съ Блокомъ мы о нихъ почти никогда не говорили. А съ Брюсовымъ — постоянно, и всегда какъ-то «профессіонально».

Выдумываемъ, нельзя ли рифмовать не концы строкъ, а начала? Или, можетъ быть, такъ, чтобы

созвучіе падало не на послѣдніе слоги оканчивающаго строку слова, а на первые?

Какъ-то потомъ, вдолгѣ, мнѣ вспомнилась эта игра. Въ «Вѣсахъ» было напечатано нѣсколько стихотвореній подъ общимъ заглавіемъ «Неумѣстныя рифмы». Въ книги мои они, конечно, не вошли, и я ихъ едва помню:

...Сквозь цѣпкое и лѣ-пкое Скользнуть бы съ Ча-шей... По самой темной лѣ-стиицѣ Дойти до сча-стья...

Что-то въ этомъ родѣ. Въ другой разъ вышло интереснѣе. Мы подбирали «одинокія» слова. Ихъ очень много. Вѣдь нѣтъ даже рифмы на «истину»! Мы, впрочемъ, оба рѣшили поискать и подумать. У меня ничего путнаго не вышло. Какое-то полушуточное стихотвореніе (обращенное къ Сологубу):

..... извлекъ
Воду живую онъ изъ-стѣны;
Только не знаетъ, мудрецъ и пророкъ,
Собственной истины.

А Брюсовъ написалъ поразительно характерное стихотвореніе, такое для него характерное, что я всѣ восемь строчекъ выпишу. Рифма, благодаря которой стихотвореніе и было мнѣ посвящено, не особенно удалась, но не въ ней дѣло.

Неколебимой истинѣ
Не вѣрю я давно.
И всѣ моря, всѣ пристани
Люблю, люблю равно.
Хочу, чтобъ всюду плавала
Свободная ладья,
И Господа, и Дьявола
Равно прославлю я...

Ну, конечно, не все ли равно, славить Господа или Дьявола, если хочешь — и можешь — славить только Себя? Кто въ данную минуту, какъ средство для конечной цѣли, болѣе подходитъ — того и славить.

Насчетъ «свободной» ладьи — ужимка, поза, рифма. Какая «свобода», или хоть мысль и понятіе о ней, могутъ быть у одержимаго брюсовской страстью?

8

Въ годы японской войны и революціи мы съ Брюсовымъ видались мало. Мы заняты были ликвидаціей «Новаго Пути», журнала, который очень отвлекъ меня въ послѣднее время отъ «Вѣсовъ».

Успѣлъ ли Брюсовъ тогда начать «прославленіе» революціи, или мудро воздержался, выжидалъ — я рѣшительно не знаю. Мы видѣли его въ это время лишь разъ, мелькомъ, въ Петербургѣ, у Вяч. Иванова. Очень скоро потомъ мы уѣхали въ Парижъ, гдѣ оставались подрядъ два съ половиной года. Но

въ Парижѣ именно съ Брюсовымъ у меня была самая дѣятельная переписка; и вновь началось сотрудничество въ «Вѣсахъ», изъ книжки въ книжку (даже корреспондентскій билетъ у меня былъ оттуда).

Въ Москвѣ, (да и въ Петербургѣ) это было время «литературнаго возрожденія» и литературной суеты; у «Вѣсовъ» появились соперники въ видѣ «Золотого Руна» и другихъ «эстетическихъ» журналовъ. Съ другой стороны, пышнымъ цвѣтомъ расцвѣталъ Андреевъ (Горькій тутъ нѣсколько затмился).

Остроумныя, ѣдкія письма Брюсова позволяли мнѣ разбираться въ общемъ положеніи дѣлъ; повиція «Вѣсовъ» была самая воинственная.

Тогда же вышла книга разсказовъ Брюсова: «Проза поэта» (миѣ пришлось писать о ней не въ «Вѣсахъ», конечно, а въ «Русской Мысли). По существу она ровно ничего къ Брюсову не прибавляла и ничего отъ него не отнимала. Лишь уясняла, — для меня, — знаемое. Проза очень голитъ поэта, какъ человѣка. Какъ разъ для человѣка-то въ прозѣ гораздо меньше, чѣмъ въ стихахъ, «кустовъ», куда можно спрятаться.

И въ разсказахъ, всегда фантастическихъ, и въ романахъ, полу-историческихъ — полу-фантастическихъ, — все тотъ же Брюсовъ, одержимый все той же единственной тайной страстью, мертвый ко всему, что не она. Фантастика, а, главное, эротика, съ отчаяннымъ на нее напираніемъ, — одежды, которыя

Брюсовъ натягиваетъ на свой темный провалъ. То, что на обычномъ языкъ называется «внутренней безсодержательностью», а на эстетическомъ — «безтенденціозностью» у Брюсова налицо. Но это сквозитъ его провалъ темный, его глубокое — ръшительно ко всему — равнодушіе.

И всѣ моря, всѣ пристани Я не люблю равно,

хотя готовъ «прославить» что угодно, кого угодно... смотря по моменту.

Прославленіе такъ называемой «любовной» страсти, эротика, годится во всѣ времена. Мертвенный холодъ Брюсова въ этой области достаточно ощутимъ и въ стихахъ; но въ прозѣ, гдѣ труднѣе спрятаться, онъ, безъ мѣры, съ отчаяніемъ, подчеркивая «любовныя» сцены, дѣлаетъ ихъ почти... некрофильскими.

Кстати сказать, ни у кого нѣтъ такого количества «некрофильскихъ» стиховъ, какъ у Брюсова. На той «средѣ» Вяч. Иванова, гдѣ мы единственный разъ въ 1905 году встрѣтили Брюсова, вышелъ забавный случай.

Присутствоваль «цвѣть» современной поэзін (впрочемь, и не цвѣть тоже). Литературный эстетизмъ переживаль тогда моменть судороги, — революція, неудавшаяся, сказывалась. Оживленіе немножко сумасшедшее, напряженно-разнузданное... Частью оно потомъ выродилось въ порнографію.

На средахъ было заведено, читаетъ ли признанный поэтъ или начинающій, слушатели, поочередно, тутъ же высказываютъ свое мнѣніе. Въ критикѣ не стѣснялись, рѣзкости даже преувеличивали. Но она касалась главнымъ образомъ, формы; и выходило, что профессіоналы критиковали молодыхъ, обижаться было некому.

Сологубъ сидѣлъ неподвижно и говорилъ мало. Кажется, онъ ничего не читалъ. А Брюсовъ, когда до него дошла очередь, прочелъ цѣлый циклъ... некрофильскихъ стихотвореній. Содержаніе въ первую минуту удивило даже и собравшихся смѣлыхъ новаторовъ; но скоро всѣ оправились, и стихи, прочитанные «дерзновенно», высокимъ брюсовскимъ теноромъ и по-брюсовски искусно сдѣланные, вызвали самые комплиментарные отзывы. Дошло до Сологуба. Молчитъ. И всѣ молчатъ. Хозяинъ, со сладкой настойчивостью, повторяетъ свою просъбу «къ Федору Кузьмичу — высказаться». Еще секунда молчанья. Наконецъ — монотонный и очень внятный, особенно при общей тишинъ, отвътъ Сологуба:

— Ничего не могу сказать. Не имъю опыта.

Эти ядовитыя, особенно по тону, какимъ были сказаны, слова, были тотчасъ же затерты смѣхомъ, не очень удачными шутками, находчивостью хозяина.. Но Брюсовъ, я думаю, ихъ почувствовалъ — и не забылъ.

Очень скоро по возвращеніи въ Россію — мы повхали въ Москву. «Русская Мысль», перешла тогда въ зав'вдыванье П. Б. Струве, Кизеветтера, Франка и другихъ. Посл'вреволюціонное оживленіе въ журналистик'в и въ газетномъ д'вл'в было необыкновенное. Нарождались новые журналы, толстые и тонкіе, старые реформировались и преобразовывались. Расцв'влъ литературный альманахъ.

Мы, въ Петербургѣ, уже успѣли потерпѣть довольно глупое пораженіе съ однимъ толстымъ журналомъ. Хотѣли мы, вкупѣ съ кружкомъ Кусковой и Богучарскаго, пріобрѣсти его у тогдашняго его владѣльца, печальной памяти Василевскаго Не-Буквы (который тогда впервые, вмѣстѣ съ Гржебинымъ, и выплылъ). Не-Буква намъ журналъ этотъ продалъ (съ понедѣльничной газетой вмѣстѣ), но на другой же день (буквально на другой) такъ насъ всѣхъ обманулъ, ни одного своего слова не сдержавъ, что мы только руками развели, и остались безъ журнала.

Вскор'в посл'в того Струве пригласилъ меня и Мережковскаго зав'вдывать литературнымъ отд'вломъ «Русской Мысли», и для ознакомленія съ редакціей и нашими обязанностями мы въ Москву и по'вхали.

Московское кипѣнье поразило насъ еще больше, чѣмъ петербургское. Не говорю о Воздвиженкѣ,

степенной редакціи «Русской Мысли»: тамъ была сравнительная тишина. Но гдѣ крутились Золотыя Руна, Альціоны, да и Вѣсы, и Скорпіоны, былъ сущій базаръ. И какъ все измѣнилось, — въ моемъ полѣ зрѣнія, по крайней мѣрѣ, — до мелочей!

Мы жили не въ старыхъ, темноватыхъ комнаткахъ Славянскаго Базара — а въ Націоналѣ, едва успѣвшемъ загрязнить свой показной «confort moderne». Съ утра — люди, писатели и редакторы; причемъ скоро выяснилось, что лучше каждаго принимать отдѣльно, ибо неизвѣстно, кто съ кѣмъ на ножахъ; пожалуй всѣ со всѣми.

Вотъ и Брюсовъ... тоже измѣнившійся. Нервный, порывистый, съ болѣе рѣзкими движеніями, злѣе, насмѣшливый. Онъ, оказывается, не встрѣчался съ редакторомъ «Золотого Руна», который у насъ или только что былъ, или долженъ былъ притти — не вспомню. Заговорили о дуэли Брюсова съ этимъ редакторомъ. Тутъ же путался и Андрей Бѣлый, не то въ чинѣ «секунданта», не то въ каком-то другомъ — не знаю, и припомнить не могу; все это, какъ было для насъ темной путаницей, которую не хотѣлось распутывать, такъ и доселѣ осталось.

Затѣмъ пошелъ Кружокъ, превратившійся въ большой клубъ съ «желѣзкой», ужинъ тамъ послѣ доклада Мережковскаго, еще какіе-то ужины, доклады, опять ужины...

Брюсовъ покинулъ Цвѣтной бульваръ и отцов-

скую квартиру въ деревянномъ флигелъ, за дворовыми сугробами. И онъ жилъ теперь не безъ «confort moderne», въ росписномъ rez-de-chaussée противъ Сухаревки, въ комнатахъ съ красными стѣнами и какими-то висячими фонариками. Все было иное. Не измѣнилась только жена Брюсова. Такая же тихая, ровная, плотно и незыблемо сидящая на своемъ мъстъ — Брюсовской в в ч н о й жены. У писателей извъстныхъ, какъ и у другихъ «знаменитостей», часто бывають жены типа «върнаго», особеннаго, самоотверженныя «служительницы генія», видящія только его, любящія до конца, прощающія, даже впредь простившія, — все. Жена Брюсова им'єла н'єчто сверхъ этого. Върная — конечно; всепростившая конечно; но прежде-то всего — «в ѣ ч н а я» жена: такъ тихо она покоилась на увъренности, что ужъ какъ тамъ дальше ни будь, а ужъ это незыблемо: она и Брюсовъ вмъстъ. Міры могутъ рушиться, но Брюсовъ останется, въ концѣ концовъ, съ ней.

Что жъ, она была права. И если теперь жива — я не сомнъваюсь: Брюсовъ съ ней.

«Вѣсы» уже близились къ закату. Ѣдемъ по Тверской, вечеромъ на извозчикѣ, съ Брюсовымъ; онъ мнѣ подробно разсказываетъ о Поляковѣ (издателѣ), о положеніи Вѣсовъ и Скорпіона... Вскорѣ и дѣйствительно Вѣсы сошли на «нѣтъ». Дольше держались альманахи «Сѣверные Цвѣты».

Завъдывать литературнымъ отдъломъ журнала, издающагося въ другомъ городъ, дъло не легкое. Мы были рады, что къ нему привлеченъ и Брюсовъ, москвичъ. Ему, впрочемъ, отданы были стихи. Брюсовъ заботился о присылкъ книгъ для очередной моей литературной статьи. Рукописи (прозаическія) присылались безпорядочной кучей, изъ редакціи, и порою было отъ чего притти въ отчаяніе! Чувствовалось, что дъло не налажено. Вскоръ наше съ Русской Мыслью дъло и совсъмъ разладилось.

Виноваты были мы. Вмѣсто того, чтобы ограничиться, по условію, чтеніемъ беллетристическихъ рукописей, мы вздумали предлагать редакціи вещи нѣкоторыхъ писателей, на нашъ взглядъ достойныя напечатанія, но не чисто беллетристическія. Между тѣмъ, слѣдовало бы помнить, что наши взгляды внѣ «искусства» не совпадаютъ со взглядами редакторовъ журнала.

Мы всѣхъ ихъ знали давно. Особенно хорошо знали П. Б. Струве, этого прелестнаго, умнаго и талантливаго человѣка, этого... писателя? профессора? журналиста? политика? ученаго? Какъ его назвать? Онъ всегда, дѣлая, какъ-будто дѣлалъ не вполнѣ свое дѣло, не главное, — и однако дѣлалъ всякое прекрасно. Мы знали его еще въ тѣ далекія времена, когда онъ и М. Туганъ-Барановскій были

«первыми русскими марксистами». Воды много утекло, но по существу П. Б. Струве оставался все тѣмъ же: немножко тяжелымъ, упрямымъ, разсѣяннымъ, глубокимъ — и необыкновенно, исключительно — прямымъ. Много онъ, отъ марксизма, сдѣлалъ поворотовъ; но умѣлъ, благодаря прямотѣ и серьезности, именно поворачивать: онъ никогда не «вертѣлся».

И въ то время, о которомъ пишу, поворотъ его былъ не на нашу дорогу. Мы сохраняли — и сохранили — съ нимъ наилучшія отношенія; впослѣдствіи, мы даже сблизились на однихъ и тѣхъ же вопросахъ; однако с о в м ѣ с т н а я работа, конкретная, хотя бы журнальная, требуетъ иныхъ степеней близости, — если она не чисто формальная, конечно.

Франкъ, и особенно Кизеветтеръ, были намъ болъе палеки.

Повторяю, ошибка была на нашей сторонъ: не слъдовало намъ выходить за изгородь «литературы».

Что это, однако, «литература» или «не литература» — «Тройка» Блока, изъ-за которой вышло первое наше столкновеніе? По моему — литература, и даже «изящная», не въ переносномъ, а въ прямомъ смыслѣ. Но «изящной» называется «беллетристика», а «Тройка» Блока имѣла видъ «статьи». Она была лирична — тѣмъ хуже, разъ это «статья». Въ ней говорилось о Россіи — тѣмъ еще хуже; статья съ

Россіей это ужъ статья съ политикой. Надо рѣшить, вначить, соотвѣтствуетъ ли эта политика политикъ журнала. Пожалуй, и не стоитъ рѣшать, и такъ ясно: никакая «лирическая» политика журналу не соотвѣтствуетъ.

Блокъ читалъ эту статью на первомъ (послѣ нашего возвращенія) собраніи Религ. Философ. О-ва. Она показалась намъ тогда очень свѣжей, очень сильной. Но въ «Русской Мысли» ее не напечатали.

Дъло все больше расклеивалось, пока не пало окончательно. Завъдыванье литературной прозой съ насъ было снято, мы остались просто сотрудниками, я — ежемъсячнымъ литературнымъ обозръвателемъ.

Замѣстителемъ нашимъ по части литературной прозы офиціально сталъ числиться Брюсовъ, но фактически онъ дѣлилъ работу съ самимъ П. Б. Струве. Объ этой общей работѣ Брюсовъ, при нашихъ дальнѣйшихъ встрѣчахъ, постоянно говорилъ. Постоянно на нее жаловался. Не удивительно. Гораздо удивительнѣе, что два такихъ разныхъ человѣка, — Струве и Брюсовъ, — могли все же долго работать вмѣстѣ.

11

По тонкости в н ѣ ш н я г о пониманія стиховъ— у Брюсова не было соперника. Способность къ «стилю» и формѣ (не странно ли, что даже ее онъ утерялъ

нынѣ!) позволяла ему «шалости» въ родѣ изданія цѣлаго сборника стиховъ отъ женскаго имени, подъ таинственнымъ псевдонимомъ «Нелли». Это былъ, конечно, тотъ же Брюсовъ, холодный въ эротикѣ (и потому циничный), естественно-безсодержательный. Но, благодаря внѣшнему мастерству, замаскированъ онъ былъ ловко.

В н у т р е н н я г о же вкуса и чутья къ стихамъ, предполагающаго хоть какую-нибудь л ю б о в ь къ поэзіи, у него совершенно не имълось. Случаевъ убъдиться въ этомъ у меня было много. Вотъ одинъ.

Кто-то прислалъ ко мнѣ юнаго поэта, маленькаго, темненькаго, сутулаго, такого скромнаго, такого робкаго, что онъ читалъ едва слышно, и руки у него были мокрыя и холодныя. Ничего о немъ раньше мы не знали, кто его прислалъ — не помню (можетъ быть, онъ самъ пришелъ), къ юнымъ поэтамъ я имѣю большое недовѣріе, стихи его были далеко не совершенны, и — мнѣ все-таки, съ несомнѣнностью, показалось, что они не совсѣмъ въ рядъ тѣхъ, которые приходится десятками слушать каждый день (приходилось бы сотнями, не положи я предѣла).

Въ стихи этого юнца «что-то попало», какъ мы тогда выражались.

Рѣшаю про себя, что мальчикъ не безъ способностей и вызываюсь (въ первый разъ въ жизни, кажется, безъ просьбы) гдѣ-нибудь напечатать стихи:

«въ Русской Мысли, напримѣръ; я пошлю ихъ Брюсову».

Отвѣтъ получился не очень скоро, и даже, между прочимъ, въ письмѣ по другому поводу. Отвѣтъ насмѣшливый, небрежный и грубоватый: что до вашего юнца «со способностями», то такихъ юнцовъ съ такими же, и даже большими, способностями у меня слишкомъ достаточно и въ Москвѣ. Совѣтую этому не печататься... Еще что-то было въ томъ же родѣ, если не хуже.

Однако изъ юнца вышелъ, и необыкновенно скоро, — поэтъ, во всякомъ случав всвми за такового признаваемый, и даже по тщательности формы, по отдълкв ея, поэтъ въ сортв Брюсова. Это былъ О. Мандельштамъ.

Въ красивой кожаной книжкъ, которую Брюсовъ мнъ подарилъ въ январъ 1909 года для моихъ стиховъ (въ ней, вывезенной изъ Совдепіи, и записаны они всъ съ 1909 г., и книжка еще не кончена, хотя ей уже четырнадцатый годъ) — на первой страницъ есть милое и довольно длинное, любезное посвященіе дарителя. Это стихотвореніе Брюсовъ гдъ-то потомъ напечаталъ. Какъ оно ни любезно — я сознаю, что къ моимъ-то писаньямъ оно совершенно не относится. Я естественно раздъляю участь всъхъ современныхъ собратьевъ Брюсова: онъ съ ними при случаъ любезенъ, при случаъ грубъ, какъ-будто всъхъ прези-

раетъ, а, въ сущности, никого и не видалъ: нужды не чувствовалъ смотръть, времени не было.

Впрочемъ, въ заказанной ему статъѣ, въ «Исторіи Русск. Литературы», Брюсовъ съ большой тонкостью разобралъ аллитераціи одного моего стихотворенія съ подсчетомъ согласныхъ и гласныхъ...

Случился довольно долгій перерывъ въ нашихъ свиданьяхъ, чуть ли не года въ полтора. Мелькомъ мы слышали, что Брюсовъ болѣлъ, поправился, но изнервничался, ведетъ довольно бурную жизнь и сильно влоупотребляетъ наркотиками.

Когда, послѣ этого долгаго времени, онъ заѣхалъ къ намъ впервые — онъ меня, дѣйствительно, изумилъ. Вспоминался самый давній, тонкій, какъ вѣтка, скромный молодой человѣкъ съ черной бородкой, со сдержанными и мягкими движеніями, спокойносамоувѣренный, спокойно-насмѣшливый. А это... Брюсовъ? Впрочемъ, воспоминаніе мелькнуло и погасло; я уже увнаю опять Брюсова; хотя даже съ недавнимъ — какая внѣшняя разница!

Вотъ онъ сидитъ въ столовой за столомъ. Безъ перерыва куритъ... (это Брюсовъ-то!) и руки съ неопрятными ногтями (это у Брюсовъ-то!) такъ трясутся, что онъ сыплетъ пепелъ на скатерть, въ стаканъ съ чаемъ, потомъ сдергиваетъ уголъ скатерти, потомъ самъ сдергивается съ мъста и начинаетъ безпорядочно шагатъ по узенькой столовой. Лицо похудъло и потемнъло, черные глаза тусклы — а то вдругъ странно

блеснутъ во впадинахъ. Въ бородкѣ цѣлыя сѣдыя полосы, да и голова съ бѣлымъ отсвѣтомъ. Въ немъ такое напряженное безпокойство, что самому становится безпокойно рядомъ съ нимъ.

Все говоритъ, говоритъ... все жалуется на Струве. Который разъ ужъ онъ прівзжаетъ по двламъ Русской Мысли. Что они тамъ двлаютъ! Что печатаютъ! Струве самъ занимается литературными рукописями. На него, Брюсова, смотритъ, какъ на редакторскаго служащаго. Онъ, Брюсовъ, рвшилъ уйти, если это будетъ продолжаться. Онъ, Брюсовъ... Онъ, Струве...

Я, очевидно, не въ состояніи припомнить, въ чемъ былъ виновенъ Струве, изъ-за чего происходили эти волнующіе конфликты. Да и никто не могъ бы вспомнить, такъ это неинтересно. Мы, обезпокоенные Брюсовскимъ безпокойствомъ, совътовали ему лучше уйти, если такъ.

— Я уйду, я уйду, — повторяль онь — и однако не уходиль. Опять являлся изъ Москвы, опять бѣгаль у насъ по комнатѣ и жаловался на Струве: такъ не можетъ продолжаться: я уйду...

Понемногу мы привыкли къ новому виду Брюсова, да онъ, въ самые послъдние передъ войной годы, какъ-будто немного успокоился, сталъ больше напоминать прежняго, — насмъшливаго и остроумнаго Брюсова.

Никогда, конечно, ни о чемъ внутреннемъ мы

не говорили. Не только ни разу не коснулись вопросовъ, которыми занятъ былъ весь нашъ кружокъ и которые имѣли широкое отраженіе въ Религіозно-Фил. Обществѣ, — но мы вообще ни о чемъ не говорили, только о литературѣ, да и то въ смыслѣ литературныхъ дѣлъ и дѣлишекъ, а всего больше о Русской Мысли и о Струве. ..

Струве, кстати сказать, къ вопросу религіозному, занимавшему тогда часть русской интеллигенціи, имѣлъ довольно близкое касанье. Онъ былъ даже членомъ Совѣта Религіозно-Фил. Общества. Въ Совѣтѣ имѣлись свои правые и лѣвые. Впослѣдствіи, когда борьба между ними обострилась и побѣдили лѣвые (вопросъ, въ связи съ дѣломъ Бейлиса, объ исключеніи В. В. Розанова изъ числа членовъ О-ва въ многолюдномъ собраніи былъ рѣшенъ положительно) — Струве и его группа изъ Совѣта вышли. Струве былъ принципіально противъ внесенія струи общественной, даже морально-общественной, въ область религіи.

Съ Брюсовымъ говорить о чемъ-нибудь такомъ и въ голову не приходило. Въ далекіе годы «декадентства» онъ не упускалъ случая выразить свое презрѣніе или даже ненависть къ «либераламъ». Но это ужъ такъ водилось. А затѣмъ — я не припомню ни одного брюсовскаго мнѣнія по какому - нибудь вопросу болѣе или менѣе широкому. Никогда не слышали мы, чтобы онъ и гдѣ-нибудь, не съ нами,

общихъ вопросовъ опредъленно касался. Стеклянный колпакъ накрывалъ его; подъ нимъ, въ безвоздушномъ пространствъ своей единой, на себя обращенной, страсти онъ и оставался. Изумительно однако, что никто ни разу не спохватился: да что же это за человъкъ? Да живой онъ или мертвый?

Никто, ни разу: съ такой мастерской хитростью умѣлъ Брюсовъ скрывать своеобразную мертвость души, мысли и сердца.

12

Намъренно опускаю все, что разсказывали мнъ другіе о Брюсовъ и о его жизни. Да мало и запоминаются такіе разсказы. Никогда, въдь, не знаешь, что въ нихъ правда, что ложь, — невольная или вольная. Факты, имъющіе значеніе, узнаются сами собой. Что Брюсовъ сталъ кидаться въ разные эксцессы, но не утопалъ ни въ одномъ съ головой и, наконецъ, прибъгъ къ наркотикамъ, — было только логично, не върить не приходилось. Любовныя драмы? Онъ, въроятно, происходять всъ по одному и тому же, Брюсову свойственному, образцу, — а количество ихъ неинтересно.

Но разъ мы услышали, что въ Москвъ застрълилась молодая, скромная поэтесса, тихая дъвушка; и что это самоубійство связано съ Брюсовымъ.

Подробностей не помню, да, можетъ быть, мнъ ихъ и не разскавывали. Этотъ случай проникъ даже въ газеты.

Было непріятно, какъ всегда, когда слышишь о самоубійствахъ. Но, каюсь, о Брюсовѣ мало думалось. Онъ невиненъ, если даже и виноватъ: вѣдь онъ вины-то своей не почувствуетъ...

И нисколько не удивило меня извѣстіе, очень вскорѣ, что Брюсовъ пріѣхалъ въ Петербургъ: мы, петербургская интеллигенція, собирались тогда чествовать заѣзжаго гостя — Верхарна. Съ Верхарномъ же Брюсовъ былъ хорошъ, чуть ли не ѣздилъ къ нему въ свое время гостить. По своему «европеизму», Брюсовъ дѣятельно поддерживалъ связи съ заграничными писателями. Андръ Жидъ даже давалъ статейки для «Вѣсовъ».

Ну, очевидно, прівхаль для Верхарна. Занять, къ намъ завхать некогда, увидимся на банкетв.

Но вотъ, наканунѣ банкета, является Брюсовъ. Мы были одни, — я, Мережковскій и Философовъ. Время предобѣденное, и уже горѣли лампы.

Брюсовъ такъ вошелъ, такъ взглянулъ, такое у него лицо было, что мы сразу поняли: это совсѣмъ другой Брюсовъ. Это настоящій, живой человѣкъ. И человѣкъ — въ послѣднемъ отчаяніи.

Именно потому, что въ тотъ день мы видѣли Брюсова человѣческаго и страдающаго, и чувствовали близость его, и старались помочь ему, какъ умѣли, мнѣ о свиданіи этомъ разсказывать не хочется. Я его только отмѣчаю. Былъ ли Брюсовъ такъ виноватъ, какъ это ощущалъ? Нѣтъ, конечно. Но онъ былъ пронзенъ смертью втой дѣвушки... можетъ быть пронзенъ смертью вообще, въ первый разъ. Драма — воистину любовная: она любила; вѣрила въ его любовь. Когда убѣдилась, что Брюсовъ, если любитъ, то не ее — умерла.

Онъ такъ и сказалъ ей. Предсмертному вову не повърилъ, — не поъхалъ. Увидълъ уже мертвую.

Но довольно. И это говорю, чтобы понятна была «пронзенность» Брюсова, страданіе его, — такое, какъ въ его положеніи было бы у всякаго настоящаго глубокаго человѣка.

Въ этотъ странный, единственный часъ и онъ чувствовалъ нашу близость. И, можетъ быть, она немного помогла ему.

О, конечно, онъ не къ Верхарну тогда прівхалъ: онъ «убѣжалъ» въ Петербургъ, какъ въ пустыню, чтобы быть совсѣмъ одному. Не знаю, кто еще его въ этотъ прівздъ въ Петербургѣ видѣлъ. Во всякомъ случаѣ, ни на какихъ банкетахъ онъ не показывался.

Къ намъ тоже больше не пришелъ. Черезъ нѣсколько времени — письмо изъ Москвы, еще не брюсовское: теплое, глубже, ближе. Ну, а затѣмъ все и кончилось. Когда, много мѣсяцевъ спустя, мы его опять увидѣли у себя (чуть не передъ самой войной) — это былъ обыкновенный, старый, вѣчный

Брюсовъ, по-обыкновенному нервный, по-обыкновенному зажигалъ онъ дрожащими руками папироску за папироской и презрительно-надменно раздражался дълами Русской Мысли. И въ глазахъ мелькалъ старый сумасшедшій огонекъ старой страсти.

13

У очень многихъ людей есть «обезьяны». Возможно даже, что есть своя у каждаго, мало-мальски недюжиннаго, только не часто ихъ наблюдаешь вмѣстѣ. Я говорю объ «обезьянѣ» отнюдь не въ смыслѣ подражателя. Нѣтъ, но о явленіи другой личности, вдругъ повторяющей первую, отражающей ее въ исковерканномъ веркалъ. Это исковерканное повтореніе, карикатура страшная, схожесть, всѣмъ видны. Не грубая схожесть. На большихъ глубинахъ ея истоки. «На мою обезьяну смѣюсь», говорить въ «Бѣсахъ» Ставрогинъ Верховенскому. И, дѣйствительно, Верховенскій, маленькій, суетливый, преэрънно мелкій и гнусный — «обезьяна» Иванъ-Царевича, Ставрогина. Какъ будто и не похожи? Нѣтъ, похожи. Обевьяна — уличаетъ и объясняетъ.

Для Брюсова чортъ выдумалъ (а чортъ забавникъ тонкій!) очень интересную обезьяну. Брюсовъ— не Ставрогинъ, не Иванъ-Царевичъ, и обезьяна

его не Верховенскій. Да и жизнь смягчаеть рѣз-кости.

Брюсовская обезьяна народилась въ вид'в Игоря С*верянина.

Можно бы сдѣлать цѣлую игру, подбирая къ чертамъ Брюсова, самымъ основнымъ, соотвѣтственныя черточки Сѣверянина, соотвѣтственно умельченныя, окарикатуренныя. Чортъ даже перестарался, слишкомъ ихъ сблизилъ, слишкомъ похоже вылѣпилъ обличительную фигурку. Сдѣлалъ ее тоже «повтомъ». И тоже «новаторомъ», «создателемъ школы» и «теченія»... черевъ 25 лѣтъ послѣ Брюсова.

Что у Брюсова запрятано, умно и тщательно заперто за семью замками, то Игорь Съверянинъ во всъ стороны какъ разъ и расшлепываетъ. Онъ, въдь, спеціально и созданъ для раскрытія брюсовскихъ тайнъ. Огуломъ презираетъ современниковъ, но такъ это на чистоту и выкладываетъ, не боясь, да и не подозръвая, смъшного своего при этомъ вида. Нисколько не любитъ и не признаетъ «никакихъ Пушкиныхъ», но не упускаетъ случая погромче объ этомъ заявить, даже надоъдаетъ съ заявленіями. Однако, отъ гримасы на Брюсова и тутъ вполнъ воздержаться не можетъ: если Брюсовъ «считалъ нужнымъ» любить Пушкина и Тютчева, то Игорь «признаетъ»... Мирру Лохвицкую, (благо, и она умерла). Но въренъ себъ, и опять выдаетъ нъкую тайну:

Брюсовъ могъ бы, но ни разу не сказалъ: «хороши вы, не признающіе меня и Тютчева», или «меня и Пушкина». Игорь же, ругая на чемъ свѣтъ стоитъ «публику», читающую и почитающую какихъ-то поэтовъ, поясняетъ:

Ляи Мирра — въ сторонъ!

«Европеизмъ» Брюсова отразился въ Игорѣ, перекривившись, въ видѣ коммивояжерства. Такъ прирожденный коммивояжеръ, еще не успѣвшій побывать въ людяхъ, пробавляется, пока что, «заграничными» словцами: «они свою образованность показать хочутъ», сказала чеховская мѣщаночка.

Игорь, какъ Брюсовъ, знаетъ, что «эротика» всегда годится, всегда нужна и важна. «Вы такая экстазная, вы такая вуальная...» старается онъ, — тоже съ большимъ внутреннимъ равнодушіемъ, только надрывъ Брюсова и страшный покойницкій холодъ его «эротики» — у Игоря переходитъ въ обыкновенную температуру, ни теплую, ни холодную, «конфетки леденистой».

Главное же, центральное брюсовское, страсть, душу его сжегшую, Игорь Сѣверянинъ не преминулъ вынести на свѣтъ Божій и опредѣлить такъ наивноточно, что лучше и выдумать нельзя:

Я, геній, Игорь Сѣверянинъ, Своей побѣдой упоенъ: Я повсемѣстно оэкраненъ, Я повсесердно утвержденъ... Брюсовское «воздыханіе» всей живни преломилось въ Игоревское «достиженіе». Нужды нѣтъ, что одинъ только самъ Игорь и убѣжденъ, что «достигъ». Для «упоеннаго своей побѣдой» нѣтъ разницы, побѣдой воображаемой или дѣйствительной онъ упоенъ.

Обезьяна Брюсова, конечно, нетерпѣлива. Гдѣто, чуть не въ томъ же стихотвореніи «я геній», она объявляеть, что дала себѣ для «повсесерднаго утвержденія» геніальности годичный срокъ:

...сказалъ: я буду! Годъ отсверкалъ, и вотъ — я есть!

Ужели что-нибудь измѣнится, если мы докажемъ быт і е Игоря Сѣверянина и въ этомъ году сомнительнымъ, а въ сверканіи послѣдующихъ — превратившимся въ полное небытіе?

Игорь Сѣверянинъ сразу произвелъ на меня безпокойное впечатлѣніе. Такъ безпокоишься, когда что-то вспоминается, но знаешь, что не вспомнишь все равно.

У Сологуба (онъ тогда очень возился съ новоявленнымъ поэтомъ) было въ этот вечеръ всего два-три человѣка, кромѣ насъ. Длинный блѣдный носъ Игоря, большая фигура, — чуть-чуть сутулая, — черный сюртукъ, плотно застегнутый. Онъ не хулиганилъ, — эта мода едва нарождалась, да и былъ онъ только э г о-футуристъ. Онъ, напротивъ, жаждалъ «изящества», какъ всякій прирожденный коммивояжеръ. Но несло отъ

него, увы, стоеросовымъ захолустьемъ; онъ, должно быть, въ тотъ вечеръ и самъ это чувствовалъ и послъ каждаго «смълаго» стихотворенія — осъдалъ.

Можетъ быть первое, въ чемъ для меня смутно просквозилъ Брюсовъ, — это манера читать стихи. Она у обоихъ поэтовъ совершенно разная. Игорь Сѣверянинъ — поетъ; не то, что напѣвно декламируетъ, а поетъ, ну, какъ пѣвецъ, не имѣющій голоса, поетъ съ эстрады романсъ, при томъ все одинъ и тотъ же. Брюсовъ читаетъ обыкновенно. Лишь тонкій тенорокъ его, загибая все выше, надрывно переходитъ иной разъ во вскрикъ — и во вскрикѣ нота, грубо повторяемая Игоремъ Сѣверяниномъ. Съ этой ноты Игорь прямо и начинаетъ свое:

Я геній...

У Брюсова есть трагическая строчка:

Мнѣ надоѣло быть «Валерій Брюсовъ...»

Игорь Съверянинъ могъ бы отвътить ему: мало что надоъло; ты все равно есть, ибо

вотъ — я есть!

Игру съ обезьяньими параллелями можно продолжать безъ конца. О нѣкоторыхъ еще придется упомянуть. Но пока укажу, что Игорь Сѣверянинъ, подобно Верховенскому, невольно льнувшему къ Ставрогину, и самъ ощущалъ нитку, которая съ Брюсовымъ его связывала. Онъ о ней не разъ говоритъ, безцеремонно и бездумно, какъ обо всемъ говоритъ. Вспоминаю лишь строки насчетъ всеобщей, кажется, ничтожности передъ нимъ, Игоремъ Съверяниномъ:

...кругомъ бездарь; И только вы, Валерій Брюсовъ, Какъ нъкій равный государь...

14

Кто не загремъть о будущихъ побъдахъ нашихъ, едва началась война? И беллетристы, и драматурги; про стихотворцевъ и говорить нечего. Напрасны были всъ тихіе уговоры:

Поэты, не пишите слишкомъ рано, Побъда еще въ рукъ Господней; Сегодня еще дымятся раны, Никакія слова не нужны сегодня...

Черевъ годъ, впрочемъ, эта волна нѣсколько схлынула. Но нѣкоторые остались. Между ними — Валерій Брюсовъ (и, конечно, Игорь Сѣверянинъ).

Никто такъ упрямо и такъ «дерзновенно» не прославлялъ войну, годъ за годомъ, какъ Брюсовъ. Никто не писалъ такихъ грубо шовинистическихъ стиховъ во время войны, какъ Брюсовъ (Иг. Сѣверянинъ сдѣлалъ эту грубость грубостью словесной, срифмовавъ «Бисмаркъ — солдату русскому на высморкъ»).

Константинополь и Св. Софія въ свое время

вдохновили Брюсова на цълый рядъ стихотвореній, гдъ славилась будущая мощь Руси. Мы всъхъ прославленій, конечно, не читали, и перечислить ихъ я не могу. Отчасти, благодаря настроеніямъ этимъ, между нами и Брюсовымъ сообщеніе во время войны прекратилось. Мы слышали, что онъ постоянно въ автомобилъ тадитъ на фронтъ, съ какой-то не то гражданской, не то военной организаціей; или, по знакомству, съ военнымъ агентомъ.. не знаю, боюсь неточностей. Ему до насъ и намъ до него въ это время дъла было мало.

Игорь Сѣверянинъ шатался въ Петербургѣ. Вдругъ его взяли да и мобилизовали. Заперли въ казармы. Поклонники и поклонницы бросились во всѣ канцеляріи — освобождать; хотя бы изъ казармъ; успѣли. Иг. Сѣв. вернулся къ Невскому проспекту. Это не уменьшило его военнаго жара. Написалъ, что гулять по Невскому «еще не значитъ быть измѣнникомъ», а что когда всѣ другіе дрогнутъ, о, знайте —

тогда вашъ нѣжный, вашъ единственный, Я поведу васъ на Берлинъ!

Упоминаніе о «поклонницахъ» да не будетъ истолковано превратно: Игорь Сѣверянинъ, несмотря на всѣхъ экстазныхъ и вуалевыхъ дамъ, на кокаинъ, на эскапады, даже на обѣщаніе вести полки на Берлинъ — по существу добрый мужъ своей жены, любящій отецъ.

Революція. Краткіе, бурные мѣсяцы керенщины,

— февраль-октябрь. О Брюсовъ за этотъ періодъ мы мало слышали, а что до Игоря Съверянина — то онъ положительно растаялъ въ туманъ, будто вътромъ его сдуло. Не было его и послъ октября нигдъ, ни въ октябристахъ, ни въ контръ-октябристахъ. Я до поразительности ничего о немъ не знаю; стараюсь вспомнить — и мерещатся какія-то глухія въсти, а, можетъ быть, и не было ихъ. Превратился въ призракъ.

Въ Петербургъ первый писатель, перешедшій къ большевикамъ, почти немедленно послѣ ихъ воцаренія, — былъ старецъ Іеронимъ Ясинскій. Единственный — онъ находился у большевиковъ тогда въ почетъ. Они его славили въ газетахъ, возили съ собой на автомобиляхъ, таскали въ Кронштадтъ. Долго онъ былъ единственнымъ русскимъ... все-таки писателемъ, продавшимъ и предавшимъ свое имя; а вторымъ былъ москвичъ, — Брюсовъ.

У насъ еще Мейерхольдъ зычно кричалъ противъ большевиковъ въ Союзѣ Писателей, среди трясущихся, но непримиримыхъ старыхъ интеллигентовъ, какъ ужъ о Брюсовѣ пришли первыя смутныя, странныя вѣсти.

Почему, однако, странныя? «И Господа, и Дьявола равно прославлю я»...

Брюсовское «я» требуетъ, разъ прославленіе началось, крайности и поспѣшности: вѣдь надо быть первымъ, впереди. Игорь Сѣверянинъ могъ не успѣть

и запропаститься, но вѣдь онъ не Брюсовъ, а только брюсовская обезьяна...

Еще не была запрещена за контръ-революціонность русская орфографія, какъ Брюсовъ сталъ писать по большевицкой, и заявилъ, что по другой печататься не будетъ. Не успѣли уничтожить печать, какъ Брюсовъ сѣлъ въ цензора, — слѣдить, хорошо ли она уничтожена, не проползетъ ли въ большевицкую какая-нибудь неугодная большевикамъ контрабанда. Чуть только пожелали они сбросить съ себя «прогнившія пеленки соціалъ-демократіи» и окрестились «коммунистами» — Брюсовъ поспѣшилъ издать брошюру «Почему я сталъ коммунистомъ».

И такъ ясно, — и такъ не удивительно, — п очем у. Въ брошюрѣ, конечно, свои объясненія, если тамъ есть объясненія. Брошюра неинтересна. И только одинъ вопросъ можно еще поставить относительно Брюсова: почему онъ, при такомъ своемъ упорствѣ, при такихъ жертвахъ (обязательная дружба съ Луначарскимъ чего стоитъ понимающему, что Луначарскій причастенъ къ литературѣ не болѣе Хлестакова, написавшаго «Юрія Милославскаго»), — почему Брюсовъ не достигъ болѣе высокаго положенія? Почему нѣтъ въ немъ «упоенія своей побѣдой», да и «побѣды» особенной какъ-будто нѣтъ?

Страстно сосредоточенный на одномъ, весь на одномъ себѣ, — онъ до сихъ поръ не достигъ ни «повсемъстнаго объэкраненія», ни «повсесерднаго ут-

вержденія». Годами сидѣть съ Луначарскимъ, годами ему повторять, что

Лишь Анатолій Луначарскій, Какъ нъкій равный государь, —

это и Брюсову можетъ надовсть при малыхъ результатахъ.

Даже Маяковскій какъ-то бол'ве на виду. Брюсовь уже обратиль на это вниманіе. Недавно выступиль съ лекціей о поэзіи Пушкина. Онъ Брюсову больше не «нуженъ», какъ «средство негодное». И Пушкинъ, — говорить Брюсовъ, — не могъ найти созвучій, соотв'єтствующихъ русскому языку: ихъ нашелъ Маяковскій.

Я боюсь, что страстное чутье Брюсова, на склон'є літь, начинаеть ему ивмінять. Боюсь, что хватаясь за всії «средства», онъ уже не тонко отличаеть годныя оть негодныхь. Его «ладья», дійствительно, «всюду плавала». Відь

Всѣ моря, всѣ пристани Онъ не любилъ — равно...

Теперь, въ морѣ дьявольскомъ, не начинаетъ ли она тонуть?

Если Брюсовъ это видитъ, онъ долженъ безмѣрно страдать. И въ сожженной страстью душѣ, даже страстью самой страшной и ненасытной, остается способность къ страданію.

Какъ жестока жизнь. Какъ несчастенъ человъкъ.

1922

маленькій анинъ домикъ

Вырубова

1

это было вчера...

Хочется начать, какъ сказку: въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ, жили были царь съ царицей...

Что жъ, развѣ это не страшная сказка — русская быль?

Длинна и недосказана сегодняшняя, самая, кажется, страшная. Но какъ изумительна вчерашняя, ее породившая. Сказка, гдѣ, въ неповторимомъ сочетаніи, дѣйствуютъ трое: царица, вѣрная слуга ея, Анна Вырубова («Аня», какъ обычно звала ее царица, да и мы, безсильные, невольные участники совершавшагося), а третій — сибирскій мужиченка Распутинъ.

Заранѣе скажу, что не для осужденія, даже не для суда я пишу. Судей много и безъ меня. Я только разсказываю. Сказка не нова — но вѣдь каждый

разсказываетъ по-своему; со своего мѣста видитъ свое; да и въ каждомъ повтореніи она только страшнѣе.

2

АНЯ

Мы увидѣли «царицыну вѣрную слугу», Анну Вырубову (Аню), въ первый разъ уже послѣ революціи; потомъ встрѣчались постоянно.

Незадолго до первой встрвчи мив показали ея большой портреть. Странно: съ перваго взгляда — узнаешь ее, какъ давно знакомую. И даже, съ перваго взгляда, схватываешь ее всю: такое... не открытое, но откровенное лицо; такъ ясно, для умвющаго читать, написана на немъ ея несложная внутренняя сущность.

Портретъ старый, т. е. снятый еще до ареста и мытарствъ по тюрьмамъ. Круглощекая русская «Красна-дъвица», и платье русское, придворное, идетъ ей какъ нельзя лучше.

Портретъ старый, но въ голову не пришло усомниться, такая ли она теперь, послѣ всего, что пережила? Не измѣнилось ли это лицо? Нѣтъ, оно неизмѣняемо. То, что, высвѣчиваясь, дѣлаетъ лицо человѣческое такимъ или другимъ — здѣсь неизмѣняемо. Неподвижно.

Воть она сидить, въ черномъ платьъ, скромно

причесанная, пополнѣвшая, но она, — Аня портрета. Вѣрная слуга царицы. Вѣрная «другиня» Распутина. Вѣрная — это прежде всего.

Сидить въ креслѣ немного тяжело (она вся тяжеловата, и хромаетъ сильно послѣ неудачнаго срощенія переломовъ), но держится прямо, и все разсказываетъ, разсказываетъ, съ дѣтскими жестами пухлыхъ ручекъ. У нея и говорокъ дѣтскій, — или бабій, — скорый, съ захлебываніемъ, съ чуть замѣтнымъ пришепетываніемъ. «Каша во рту», обмолвилась однажды разсерженная царица.

Разсказываетъ Аня... все о своихъ послѣднихъ несчастьяхъ, о крѣпости, объ издѣвательствахъ въ тюрьмѣ.

— Сколько разъ Господь спасалъ отъ солдатъ... сама не вспомню, какъ...

Видъ у нея, можетъ быть по привычкѣ, дѣланноискренній, дѣланно-дѣтскій. Вѣдь и глаза такіе: широкіе, открытые, свѣтлые... но непроницаемые, вдругъ стеклянные, — слѣпые. Я не сомнѣваюсь, впрочемъ, въ искренности ея разсказа: вѣдь ни о царицѣ, ни о Распутинѣ она слова не обронила.

Это молчаніе радуеть; чувствуешь облегченіе. Не хочется, чтобы кто-нибудь вдругь спросиль ее... о важномь, о прошломь. Какь-то жалко. В'єдь она сейчась же, непрем'єнно, начнеть лгать, поб'єжить по какимъ-то окольнымъ тропинкамъ, хитрымъ, путанымъ и вывертливымъ, тоже невинно, — фи-

зіологически. Она не можеть иначе, она вѣрная. Она совершенна въ самоотдачѣ, въ какомъ-то кругломъ самопреданіи... Это дѣлается съ ней само, но ужъ если сдѣлалось — она желѣзно-крѣпка, упряма и хитра.

Царица тоже упряма и върна. Но какъ онъ различны, эти двъ женщины, царица и ея единственная подруга — Анна Вырубова!

Царица никому не нравилась и тогда, давно, когда была юной невъстой наслъдника. Не нравилось ея острое лицо, красивое, но влое и унылое, съ тонкими, поджатыми губами; не нравилась нъмецкая, угловатая рослость. Кто-то сказалъ при мнъ: «погодите, а можетъ быть она замъчательна. Въдь какое имя выбрала? Екатерина!»

Вышло вздоръ, Алису въ православіи нарекли Александрой. Но несовсѣмъ, должно быть, вздоръ, если черезъ многіе годы пишетъ Алиса мужу: «...Какъ корошо, что ты далъ мнѣ Верховный Совѣтъ!.. Вообрази меня сразу со всѣми министрами!.. Со времени Екатерины ни одна императрица не принимала лично и одна. Григорій (Распутинъ) въ востортѣ».

Кстати здѣсь о письмахъ ея, т. е. не о нихъ, а о фактѣ напечатанія, обнародованія, интимнѣйшихъ писемъ женщины, жены къ мужу. Да еще взятыхъ у мертвой, только что, вмѣстѣ съ мужемъ и дѣтьми, убитой столь жестоко и позорно.

Само по себъ — такое обнародованіе чудовищ-

но. Средній культурный челов'єкъ, особенно до войны, не пов'єриль бы, что это возможно. Однако недопустимое сд'єлано, и — хорошо, что оно сд'єлано. Безъ него никогда не знали бы мы правды, отнын'є твердой и неоспоримой, объ этой женщин'є, какъ в'єрной и любящей женщин'є, какъ в'єрной и любящей жен'є, какъ самоотверженной матери.

Не знали бы мы и правды о ней — императрицѣ. Не знали бы съ потрясающей, неумолимой точностью, какъ послужила она своему страшному времени. А намъ надо знать. Эта правда ей не принадлежитъ. И хорошо, что не осталась она скрытой.

3

при дворъ

Въ 14-мъ году, лѣтомъ (о войнѣ еще никто не помышлялъ), къ намъ на дачу пріѣхалъ редакторъ газеты «День» и безъ конца разсказывалъ о путешествіи въ Сибирь корреспондента въ одномъ вагонѣ съ Гр. Распутинымъ (тогда, вскорѣ, Распутина и ранили).

Корреспондента посылали платонически: о Распутинъ было строго запрещено упоминать.

Задавленная правда растетъ криво, вкось, — сплетнями. Вотъ годы это длится съ Распутинымъ, ужасъ — въ одеждъ скандала. Тамъ, при дворъ,

въ сущности, ничего не понимаютъ. Тамъ идетъ какая-то своя жизнь, со своими большими и маленькими горестями, тамъ свои дѣла и своя среда... Мѣщанская? Не знаю, во всякомъ случаѣ потрясающе некультурная, невѣжественная.

Царица, впрочемъ, помнитъ, что она царица, а мужъ ел — самодержавный царь. Это значитъ — что онъ неограниченный владыка надъ всёми рёшительно и по волѣ Божіей можетъ дёлать въ своей странѣ, что хочетъ. Люди злы, рабы часто бунтуютъ; для этого нужна строгость. Такъ хочетъ Богъ.

Другого ничего царица никогда не слышала и потому естественно не знаетъ. Умъ отъ природы у нея былъ, но очень обыкновенный; а нуженъ исключительный, чтобы пробиться сквозь эту толщу невѣжества.

Но царица все-таки восприняла твердо то малое, что слышала, чему ее учили. У нея своя линія. Аня — живетъ, какъ рыба въ водѣ, какъ птица на вѣткѣ. Она вездѣ бы искала, кого обожать, кому служить, кому отдаться. И вездѣ бы нашла.

Царица чуть-чуть презираетъ Аню, однако Аня ей нужна. Безъ ея отдающейся върности она жить не можетъ. Но часто и несправедливо раздражается противъ Ани и даже ревнуетъ ее къ мужу.

Серьезной ревности у нея, конечно, нътъ. Она не сомнъвается въ върности мужа. Неизвъстно, не было ли тутъ и психологически обратной ревности.

Кому предана Аня больше, кого върнъе обожаетъ, царицу или царя? Считалось, что царицу. Но вотъ, оказывается, что она такъ же безоглядно обожаетъ и царя. И царица въ раздраженіи, находитъ, что Аня съ ней «груба», «нелюбезна»... «Послъ ея поведенія въ Крыму — что-то пропало, разорвана связь... Она никогда не будетъ такъ близка мнъ, какъ была...»

Раздраженіе неглубокое, но совсѣмъ исчезло оно только въ концѣ 16-го года. Незамѣтно окрѣпла ихъ нерушимая связь — Распутинъ.

4

ЮРОДИВЫЕ БАБНИКИ

Въ Петербургѣ жила когда-то очаровательная женщина. Такая очаровательная, что я не знаю ни одного живого существа, не отдавшаго ей дань влюбленности, краткой или длительной.

Въ этой прелестной свътской женщинъ кипъла особая сила жизни, дъятельная и пытливая. Все, что такъ или иначе выдълялось, всплывало на поверхность общаго, — мгновенно заинтересовывало ее, будь то явленіе или человъкъ. Не успокоится, пока не увидитъ собственными глазами, не прикоснется, какъ-то по-своему не разберется. Не было представителя искусства, литературы, адвокатуры, публицистики, чего угодно, — который не побывалъ

бы въ ея салонъ въ свое время. Иные оставались дольше, другіе закатывались немедля. На моихъ глазахъ тамъ прошли Рѣпинъ, Ге, Стасовъ, Урусовъ, Андреевскій, Влад. Соловьевъ, Чеховъ... Она умѣло комбинировала людей, и «свътскіе» внакомые никогда не смѣшивались съ друзьями «ея духа». Впрочемъ, сидълъ тамъ иногда молчаливый старикъ, никому неинтересный. Его называли «сфрымъ другомъ». «Сфрый другъ» этотъ, превратившись изъ съраго въ бълаго и одряхлъвъ, былъ сочтенъ достойнымъ поста премьера во время войны. Онъ плѣняетъ, въ 15 году, царицу своимъ «здравымъ сужденіемъ», онъ находить, что царю «слѣдовало бы быть увъреннъе въ себъ». Распутинъ благожелательно называеть его «старцемъ». «У меня надъты невидимые штаны, увъряетъ царица, и я могу ваставить старика приходить и поддерживать въ немъ энергію. Сегодня онъ пришель ко мнѣ, какъ къ «soutien», ибо, по его словамъ, я — l'énergie. Нашъ Другъ пошлетъ ему ободрительную телеграмму...»

Это былъ Горемыкинъ.

Но я продолжаю о салонъ очаровательной женщины.

Могъ ли въ немъ не появиться Григорій Ефимовичъ Распутинъ, едва онъ взошелъ на петербургскій горизонтъ?

Онъ и появился. Спѣшу сказать, что очаровательница не сдѣлалась распутинкой. Она обладала

исключительной уравновѣшенностью и громаднымъ запасомъ здраваго смысла. Всѣхъ «пытала», и ко всѣмъ, въ сущности, оставалась ровна. Но чутье къ значительности — даже не человѣка, а его успѣха — было у нея изумительное.

Распутинъ вѣроятно понялъ, что тутъ много не возьмешь, но захаживалъ нерѣдко. Надарилъ ей кучу портретовъ съ безграмотными надписями. Она, смѣясь, показывала намъ портреты, разсказывала о «старцѣ» и все звала къ себѣ — повидать его.

Но мы къ ней не пошли, какъ и впослѣдствіи, когда Распутинъ бывалъ чуть не всюду, мы никуда не ходили «на него».

Слишкомъ хорошо мы знали Распутина, не видавъ; знали раньше, чѣмъ попалъ онъ въ первый нарядный салонъ. Пожалуй, раньше несчастнаго еп. Өеофана, котораго толкнулъ злой духъ направить сибирскаго «старца» въ домъ Романовыхъ. Еп. Өеофанъ — былъ монахъ рѣдкой скромности и тихаго, праведнаго житія. Помню его, маленькаго, худенькаго, молчаливаго съ темнымъ, строгимъ личикомъ, съ черными волосами, такими гладкими, точно они были приклеены. Но онъ смотрѣлъ «горѣ», поверхъ человѣка, — гдѣ ему распознать было сразу хитраго сибирскаго мужиченку!

Распутинъ, въ самомъ началѣ, терся около бѣлаго духовенства. Бывалъ на вечеринкахъ у довольно извѣстнаго тогда, чудачливаго священника М. Возлюбилъ эти вечеринки: тамъ собиралось много барышенъ, — гимназистокъ и курсистокъ. Къ нимъ, онъ, конечно, лѣзъ цѣловаться. Одна, очень мнѣ близкая, разсказывала, что долго отъ этого уклонялась, а когда онъ все-таки ухитрился ее поцѣловать — побѣжала къ хозяйкѣ въ комнату умываться. «Я ему сказала, что если онъ еще разъ посмѣетъ, я ему дамъ самую «святую» пощечину. Теперь издали, но еще хуже пристаетъ: «черненькая! черненькая! подь, я не трону, сердитая!»

Но, вообще, «бабничество» Распутина никого особенно не удивляло: вѣдь такъ предлежитъ «старцу», если онъ «съ юродствомъ». Къ юродству же въ каждой русской душѣ премірная тяга. Даже слова «юродивый» ни на какомъ европейскомъ языкѣ нѣтъ, а русскій человѣкъ безъ юродства какъ-будто и святости не понимаетъ.

Въ Распутинъ, конечно, настоящаго «юродства» никогда не было, но юродствовалъ онъ постоянно, и съ большой сметкой: соображалъ, гдъ сколько положить.

Кто ни писалъ о Распутинъ, всъ, даже враги его, признавали его замъчательность, умъ, необыкновенную проникновенность взгляда и т. д.

Я же утверждаю, что онъ былъ крайне обыкновенный, незамъчательный, дюжинный мужикъ. Замъчательно его положеніе, такъ сказать, мъсто во времени и пространствъ, его роль, но не онъ самъ.

И событія дѣлаются отъ этой заурядности какъ-то еще страшнѣе... Французъ Жильяръ, при мимолетной встрѣчѣ, увидѣлъ во взглядѣ Распутина «злую силу»... Но откуда знать французу, что Россія издавна полна вотъ такими сметливыми, кряжистыми и похотливыми «святыми странниками»? Интеллигенція русская въ эту сторону не привыкла смотрѣть и наивна. Но даже мнѣ приходилось встрѣчаться съ нѣсколькими подобіями Распутина.

Одинъ, въ особенности, былъ точно вылитый. Объ Иліодорѣ не говорю, онъ глупѣе, безпорядочнѣе и мельче, какъ мошенникъ. Но Щетининъ, чемряцкій «батюшка» — да его не отличишь отъ Распутина. Въ то же, приблизительно, время онъ и въ Петербургъ прибылъ. Видали мы не только его, но и главнаго ученика — Легкобытова, и послѣдовательницъ его, изъ рабочей среды. Щетинину не повезло: совался повыше, но не вышло случая; продолжалъ, поневолѣ, дѣйствовать среди рабочихъ.

И сапоги бутылками, и рубаха русская, и кафтанъ на крючкахъ, и взоръ «пронзительный» изъ подъ бровей, и тоже кряжистый, темпераментный, покрѣпче сколоченъ, развѣ, — а то, ни дать ни взять, Распутинъ. Правда: Щетининъ не только практикъ, но и теоретикъ, и даже графоманъ. Распутинъ, темнымъ, угрознымъ и юродливымъ языкомъ своимъ, нарочито-безграмотнымъ, изрекаетъ краткія пророчества, или пишетъ личныя телеграммы высокимъ

особамъ. И всегда въ его ахинев есть простая, опредъленная цъль, то или другое конкретное внушеніе, требованіе. Ахинея старца Щетинина — безудержна, водопадна и возвышенно-отвлеченна: онъ бралъ иногда тъмъ, что одуревалъ слушателей. Наконецъ и писать сталъ; мнъ приходилось видъть его напечатанные брошюрки и листки. Думаю, однако, что, попади онъ въ распутинскій «случай», бросилъ бы онъ и «общину крутить», и растеканье въ словесныхъ ерундахъ.

Велъ онъ себя совершенно такъ же безобразно, какъ и Распутинъ, такъ же юродливо-бабнически. Онъ дъйствовалъ въ Петербургъ нъсколько лътъ подрядъ (передъ войной) и попалъ подъ уголовщину совершенно случайно. Было начато дъло (скоро притушенное, Щетинина просто убрали куда-то), но слъдствіе успъло дать такую картину разврата этого безобразника, что если бъ не документальныя подтвержденія, не показанія «жертвъ», то и повърить бы нельзя. Какъ Распутинъ, онъ любилъ сниматься. Любопытна его фотографія въ женскомъ платьъ, въ кругу поклонницъ.

Да и Варнава — удешевленное изданіе Распутина и Щетинина. Онъ только сразу призналъ себя «младшимъ» и сталъ подъ покровительство Распутина (всегда ему тайно завидовалъ, впрочемъ). Питиримъ, послъдній царскій митрополитъ, того же типа, хотя, связанный «саномъ», пошелъ по сво-

имъ рельсамъ, размаха того не могъ имѣть и даже на оргіи Распутинскія посылалъ только своего секретаря.

Я беру первыхъ попавшихся, изъ прошедшихъ на моихъ глазахъ; можно бы вспомнить и другихъ. А что будетъ, если мы заглянемъ повнимательнъе въ прошлое, — въ исторію?

5

ЦАРЬ И ЦАРИЦА

Да, Распутинъ, какъ личность — ничтоженъ и зауряденъ. Лишь какъ типъ — онъ глубоко интересенъ, и мнѣ много еще придется о немъ говорить. Аня — ясна, какъ стеклышко; царица сложнѣе, хотя ограниченность ея несомнѣнна. За то сочетаніе этихъ трехъ, во времени и пространствѣ, — почти грандіозно. Они вмѣстѣ написали страницу русской исторіи, которая не скоро забудется.

А царь? Не покажется ли страннымъ, что я ни слова не говорю о царѣ?

Пора сказать о немъ, хотя это очень трудно. Потому трудно, что царя—не было. Отсутствіе царя, при его какъ бы существованіи, тоже вещь сама по себѣ очень страшная. И царица, и слуга ея вѣрная, и «старецъ» Гришка, все-таки были,

«царя» же не было окончательно и безповоротно. Николай Александровичъ Романовъ, человѣкъ, — чуть-чуть былъ; блѣдная тѣнь, и даже въ пріятныхъ очертаніяхъ. Его супружески любила данная ему жена; можетъ быть, дѣти были къ нему привязаны. Но уже марево — обожаніе стеклоглазой Ани, которая думала, что обожаетъ «царя», блѣдную же тѣнь человѣка она вовсе не различала.

Да и трудно было различать. Оттого трудно и любить. Оттого съ удивляющей легкостью ушли отъ него почти всѣ, едва было объявлено, что «царя нѣтъ». Царя нѣтъ, отъ Николая Романова ушли, какъ отъ пустого мѣста.

Что нѣтъ царя, и что едва есть человѣкъ — мужъ, царица безсознательно, чувственно, кошмарно подозрѣвала. Въ этомъ было ея напряженное страданіе. Отдать отчетъ она себѣ, конечно, не могла, робкая и неумѣлая въ размышленіи, упрямая въ томъ маломъ, чему ее научили. Но все время, съ изумительной непрерывностью, ищетъ она увидѣть, ощутить, что царь есть, есть, есть, настоящій царь по ея понятію, настоящій человѣкъ по ея любви. Она и сыномъ («наслѣдникомъ») дорожитъ не только какъ сыномъ, а какъ однимъ изъ воплощеній царскаго бытія. Цѣпляется за «наслѣдника», почти смѣшиваетъ ихъ обоихъ въ слѣпомъ надрывѣ и, не разбираясь, бросается вмѣстѣ съ ними, — куда же еще? Къ Богу, конечно. Ужъ Богъ-то не можетъ

не помочь и ея правду не поддержать, — вѣдь это Его, Божья, правда!

Но царица матеріалистка. Въ области, которую она называетъ «религіозной» и «духовной», — ей нужно осязательное, видимое, тѣлесное, человѣческое. Ей необходимъ Распутинъ: безъ него ей не на что ноги поставить, неоткуда дѣлать свои понятныя земныя дѣла. Ей для нихъ нужна постоянная Божья санкція, словесная, слышимая.

Распутинъ ей необходимъ для всѣхъ большихъ и маленькихъ, но опредѣленныхъ, чудесъ, — начиная отъ семейныхъ удачъ до выздоровленія наслѣдника и превращенія Ники въ Петра Великаго, въ полной своей явной славѣ.

И немужественная, робкая, даже трусливая по природѣ, — она дѣлается безоглядно-самонадѣянной, увѣрившись, что за ней стоитъ «высшая сила», знаковъ отъ которой она жадно ищетъ и всегда находитъ: это сны, видѣнія, темныя и какъ бы исполняющіяся пророчества... Распутина. Гребешки, бутылочки, яблоки, иконки — его же, отъ него же. Все — вещественное, несомнѣнное, видимое, какъ онъ. Онъ дѣлаетъ для нея «невидимое видимымъ»; сдѣлаетъ и «желаемое и ожидаемое» — настоящимъ...

Распутинъ ей необходимъ.

АНИНЫ «МЕМУАРЫ»

Аня зашла къ намъ на минуточку по дѣлу. Это было между двумя ея арестами: еще не все успѣли у нея отобрать. Остались фотографіи — цѣлые громадные альбомы. И она пришла посовѣтоваться, гдѣ бы ихъ сохранить отъ слѣдующаго обыска.

Какъ всегда, смотритъ ясно хрустальными — стеклянными глазами; по бабьей привычкъ, прибъдняется; «что жъ, молъ, въдь я простая глупая женщина. Я по волъ Божьей... Какъ Богу угодно»...

Но вдругъ, говоря о фотографіяхъ, по-новому оживилась. Въдь все снимки ея путеществій... съ государыней и государемъ. Много ея собственныхъ. Есть снимки очень ръдкіе, на Штандартъ...

Это въ первый разъ она говорить о бывшемъ, о царской семьв. Увлеклась воспоминаніями. Какъ всв они мирно, скромно и беззаботно жили до войны! Гуляли, читали, чай пили, потомъ опять гуляли... Императрица любила рисовать, занималась рукодвльемъ... Государь двлалъ большія прогулки...

Слушаю этотъ невинный разсказъ, немножко страшный, — какая, подумаешь, идиллія! и опять мнѣ не хочется, чтобы кто-нибудь спросилъ ее о

позднъйшемъ, о войнъ, о Распутинъ. Жалко. Будетъ лгать, метаться, вывертываться...

Мнъ и теперь жалко, что ее убъдили написать и выпустить какія-то «воспоминанія».

Тѣмъ же дѣтскимъ, или бабьимъ, говоркомъ разсказываетъ она и о страданіяхъ послѣ революціи, и о прежнемъ житьѣ, и прогулкахъ на Штандартѣ. Но вотъ надо, — тутъ ужъ надо, ничего не подѣлаешь! — сказать о войнѣ, о Распутинѣ; — она долго, трогательно крѣпится, потомъ бросается въ ложь, какъ въ воду. Хитрости ея не очень хитры, все тотъ же незамысловатый пріемъ, — подъ прикрытіемъ явно нелѣпой сплетни — выдать за ложь и завѣдомую правду. Путаетъ, мечется... Кому это нужно? Такъ же ненужно, какъ ненужны были допросы, держанья въ тюрьмахъ, слѣдствія.

Все, что она могла сдѣлать страшнаго и непоправимаго, она уже сдѣлала. Вѣрнѣе — оно уже сдѣлалось, прошло черезъ нее, кончилось. Теперь она — пустота въ пустотъ. И невинно нѣма, никакой правды «открыть» не можетъ, ибо ея не знаетъ.

Анина ложь правды не сокрушить, конечно, но порою осъдаеть на правдъ, какъ пыль. И мнъ придется кое-гдъ обращаться къ «воспоминаніямъ», чтобы стереть эту пыль.

маленькій домикъ

Война ошеломила царицу; но скоро она оправилась. Война входила въ кругъ ен понятій, имѣла, какъ возможность, свое мѣсто. Кромѣ того, царица относилась къ войнѣ, въ первую голову, какъ къ дѣлу семейному. Намъ трудно понять, а между тѣмъ это естественно. Вѣдь воюютъ между собою все «Джорджи», «Вильямы», «Ники». Война — дѣло Ники, и побѣда надъ Вильямомъ будетъ его побѣдой, его славой.

Царица не забываеть о «Россіи»; о Россіи, для этого случая, есть всѣ готовыя слова, какъ есть и предписанія, что слѣдуеть дѣлать главнымъ заинтересованнымъ лицамъ: Никѣ и ей самой.

Ей, царицѣ, «матери Россіи» (и наслѣдника) нужно, прежде всего, стать «утѣшительницей», ухаживать за ранеными, служить «царскому воинству»; она принимается за дѣло безъ промедленія. Создаетъ лазареты, одѣвается сама и одѣваетъ молоденькихъ дочерей сестрами милосердія. Что за бѣда, что въ Царскосельскомъ лазаретѣ — главнымъ хирургомъ г-жа Гедройцъ, врачъ малосвѣдущій и женщина малосовѣстная. «Она любитъ насъ», остальное приложится.

Аня, конечно, тоже въ лазаретъ, тоже перевя-

вываетъ. Но царица, рѣшивъ исполнить какойнибудь «долгъ», уже не оставляетъ его, не устаетъ. Аня — другая; ей, естественно, надоѣли безпросвѣтные лазареты; тутъ нѣтъ еще никакой вины, она не «царица». Но царица безпощадна: «Вначалѣ каждый день просила операцій, а теперь онѣ ей надоѣдаютъ. Постоянно уходитъ. Небрежно перевязываетъ»... «Хотѣла имѣтъ крестъ, объ этомъ и хлопотала. Теперь получила, и интересъ упалъ».

Долга своего въ дѣлѣ войны царица не ограничиваетъ, однако, вотъ этой работой, ранеными, лазаретами. Именно потому, что война — дѣло личное, близкое, семейное, она обязана дѣйственно вмѣшаться въ него, бороться рядомъ съ Ники не только противъ «Вильяма», но и противъ другихъ его враговъ — всѣхъ, кто можетъ отнять у него славу побѣды. Напримѣръ, великій князь Николай Николаевичъ («Николаша», какъ она его называетъ). Ники добръ и простъ, не видитъ зла, но она-то, царица, видитъ. Вѣдь ей это открываетъ тотъ, кто все видитъ, все знаетъ — Богъ (черезъ Распутина). Ники долженъ взять свое дѣло въ свои руки, долженъ сдѣлать его самъ, долженъ быть царемъ, долженъ быть, быть!

Распутинъ, выздоровѣвъ отъ раны, поспѣшилъ пріѣхать (въ сентябрѣ). Наслѣдникъ опять боленъ, но царица не особенно встревожена: «онъ скоро поправится теперь, разъ что Другъ нашъ его видѣлъ».

(Распутинъ вездѣ называется «Нашимъ Другомъ», съ большой буквы).

Какъ относился къ Распутину самъ Николай II? Можетъ быть, недурно, а можетъ быть, равнодушно. Никто не зналъ, да и не жаждалъ знатъ. Никто и не узнаетъ никогда. Николай II недаромъ былъ завязанъ въ молчаніе, точно въ платокъ. Такъ, въ молчаніи, и отошелъ къ прошлому. Ни одного слова отъ него не осталось; тѣ, что читалъ онъ по бумажкѣ на пріемахъ — забылись.

Пожалуй, и сама царица не знала хорошенько его отношенія къ Распутину. Просто предпочла ув'єрить себя, что они оба относятся къ нему одинаково. Если Ники еще не всегда понимаетъ, что Распутинъ — «наше общее спасеніе» — она поможетъ ему понять это, заставитъ понять — все.

«Другъ счастливъ за тебя, что ты поѣхалъ (въ Ставку), и былъ такъ радъ видѣть тебя вчера», пишетъ она 20-го сентября. «Онъ любитъ тебя ревниво и не выноситъ, чтобы Николаша игралъ какуюнибудь роль».

Видѣлъ царя вчера, царицу увидитъ сегодня... Аня, въ своихъ запискахъ, вертится: вотъ, сколько неправды говорили, Напримѣръ, говорили, что Распутинъ «постоянно» бываетъ у ихъ величествъ. А я могу засвидѣтельствовать, что онъ бывалъ во Дворцѣ очень рѣдко. Во Дворцѣ есть охрана, велись записи (тутъ долго и подробно объ

охранѣ), можно прослѣдить по записямъ, говорю ли я правду.

Можно бы, но не стоить: она говорить правду; но этой формальной правдой старается прикрыть существенную ложь. Дёло вёдь не въ томъ, гдё видёлся постоянно Распутинъ съ царицей и царемъ, а въ томъ, что онъ постоянно съ ними видёлся. Эту правду — свиданій царицы съ Распутинымъ по два, по три раза въ недёлю, а съ царемъ всякій разъ, когда онъ пріёзжалъ изъ Ставки, можно прослёдить по не менёе вёрнымъ, чёмъ охранныя, записямъ самой царицы.

Свиданья происходили не во дворцѣ, а въ «маленькомъ домикѣ» — у Ани. О нихъ она молчитъ. О «домикѣ» упоминаетъ вскользь, «я тамъ жила одна». Между тѣмъ, этотъ «маленькій домикъ» вблизи Царскосельскаго Дворца долженъ быть отмѣченъ исторіей. Тамъ писался четвертый актъ русской трагедіи. Тамъ засѣдало послѣднее самодержавное правительство.

Главная работа царицы въ первые мѣсяцы войны — это укрѣпленіе вѣры Ники въ Распутина, утвержденіе полной связи между ними. Это фундаменть, на которомъ она будетъ строить. Цѣль ея ясна, планъ постройки несложенъ. Надо найти и отобрать людей вѣрныхъ, преданныхъ и любящихъ Ники и ее, царя и царицу, и дозволить имъ помогать Ники въ его побѣдѣ не только надъ Вилья-

момъ, но также и надъ всѣми остальными людьми, далекими, чужими и родными, но невѣрными, непреданными и нелюбящими, — «врагами». Неясно рисовалось, что есть «народъ» вообще, «войско» вообще; какое-то необходимое, подданное «оно». Но не о немъ рѣчь, оно внѣ игры, внѣ борьбы, которая происходитъ здѣсь, въ Царскомъ, въ этой самой комнатѣ, гдѣ царица принимаетъ «старика», пишетъ письма. Все рѣшается здѣсь — и въ Маленькомъ Домикѣ.

Какъ, однако, находить нужныхъ, вѣрныхъ людей, какъ ихъ узнавать? Это царицу не заботитъ. Она вѣритъ себѣ и указанью свыше, которое ей всегда будетъ дано — черезъ Распутина. Еще нужно, конечно, чтобы Ники велъ себя, какъ царь. И для этого есть — ея помощь, во-первыхъ, Божья, вовторыхъ (Распутинъ).

Вотъ и вся «политика» царицы. Другой у нея никакой не было.

Зато работаетъ она не покладая рукъ. Начинаетъ исподволь, потихоньку. Да въ первый годъ и не успѣла приноровиться, еще не вошла «въ войну». Ее еще занимаетъ старая, мирная, домашняя жизнь, отвлекаютъ семейныя, неважныя сплетни, заботитъ здоровье наслѣдника, сердитъ Анино настроеніе и случайный Анинъ флиртъ... Но первое дѣло уже намѣчено и ведется систематически: смѣщеніе «Николаши». Во-первыхъ, если царь — глава всей Рос-

сіи! не глава войскъ — онъ еще не совсѣмъ царь. Во-вторыхъ, — «Николаша» врагъ (врагъ Друга). Ники долженъ понять, что отставка Н. Н. воля Божья (которая открывается черезъ Распутина).

8

война объявлена

- Вы знаете, «Аня» такъ серьезно ранена въ царскосельскомъ поъздъ, что врядъ ли выживетъ.
- Выживетъ! И, въ концѣ концовъ, ее просто жалко. Чѣмъ она лично, виновата въ этомъ царскомъ скандалѣ? Обожаетъ Гришку? Да мало ли бабъ его обожаетъ! Какая-то роковая она, это правда, но вины ея тутъ нѣту.

Аня выжила, несмотря на всю небрежную жестокость, съ которой была ей подана первая помощь. Невъжественная г-жа Гедройцъ весьма удачно оставила ее калъкой на всю жизнь.

- Распутинъ это все предсказалъ! увъряетъ Аня. На самомъ же дълъ Распутинъ, когда Аня лежала при смерти и царица спросила, чего ожидать, съ необыкновенной ловкостью отвътилъ:
- Если она еще нужна тебѣ и Россіи Господь сохранить ее. Если же, напротивь, она чѣмънибудь можеть повредить Богъ возьметь ее късебѣ.

Аня выжила, — ну, значить, «на благо Россіи». Царица, однако, продолжаеть съ ней быть холодна. Катастрофа не помогла. Уже 22-го января, черезъ недѣлю приблизительно, пишетъ: «сидѣла у Ани, которая поправляется... Она вѣчно проситъ, чтобы съ ней сидѣли... Говоритъ, что похудѣла, но я нахожу, что ея ноги колоссальны... Лицо розовое... Какъ она отъ меня далеко ушла со времени своего гнуснаго поведенія... Отношенія наши никогда не могутъ стать прежними»...

Впрочемъ, это такъ, попутно; главное не забывается и тутъ: «Аня проситъ тебя, отъ имени нашего Друга, чтобы ты ни въ коемъ случав не упомянулъ ни разу имени Главнокомандующаго (Николаши) въ Манифеств...»

Февраль, мартъ, — то же, «любящія письма отъ Друга»... «Аня несносна, ворчитъ, притворяется, пристаетъ... Мы ее слишкомъ избаловали»... Въ апрълъ — Аня уже опять въ «маленькомъ домикъ». Начинается новая цъпь свиданій съ «Другомъ», (дъти тамъ постоянно).

Письма — немножко въ стилѣ церковныхъ Соборовъ: «намъ и Духу Святому изволится»...

«Нашего Друга и меня... одинаково поразило, что Н. (Николай Николаевичъ) составляетъ телеграммы, отвъчаетъ губернаторамъ, какъ ты»... «Ты слишкомъ добръ и мягокъ... Громкій голосъ и строгій взглядъ дълаютъ чудеса»...

До конца іюня главная кампанія противъ Николая Николаевича ведется въ темпѣ ускоряющемся; но параллельно начались и другія. Распутинъ почти не выходитъ изъ «маленькаго домика».

«Аня передала Ему сейчасъ же, что ты телеграфировалъ. Онъ благословляетъ тебя и такъ доволенъ»... Послѣ одного изъ свиданій: «Былъ очень добръ, массу о тебѣ разспрашивалъ»... Идутъ военныя соображенія, не послать ли нѣсколько казачьихъ полковъ къ Либавѣ и т. д., — очевидно, изъ бесѣды, ибо прибавляется: «нашъ Другъ говоритъ, что нѣмцы страшно хитры».

Въ іюнѣ царица бѣжитъ въ 10 часовъ вечер въ «маленькій домикъ», съ дѣтьми. Бѣжитъ «кружнымъ путемъ», чтобы обмануть охрану. Другъ уѣзжаетъ на родину, но все задуманное не только на-мази, оно вполнѣ готово къ исполненію. Даже «крестные ходы», приказъ о которыхъ долженъ исходить отнюдь не отъ Синода, а прямо отъ царя.

Въ это свиданье Распутинъ «говорилъ много и чудесно».

Онъ входитъ во всѣ детали: заботится, чтобъ не увеличивали трамвайную плату, чтобъ новые денежные знаки были такого, а не иного образца, чтобъ былъ приказъ конфетнымъ фабрикамъ дѣлать снаряды...

«Онъ сожалѣетъ, что ты не говорилъ съ Нимъ немного больше обо всемъ, что ты думаешь и намѣренъ сдѣлать, и о чемъ предполагаешь говорить съ твоими министрами, и о перемѣнахъ, которыя предполагаешь сдѣлать... Онъ можетъ больше помочь, когда ты откровенно говоришь съ Нимъ».

Оплошность исправляется, и черезъ нѣсколько времени царица благодаритъ мужа за посланныя военныя и другія разъясненія, «чтобы я могла сказать нашему Другу»... «Никому не скажу, кромѣ Него»...

Бъдная Аня! Зачъмъ довели ее до того, что она пишетъ: «Это былъ простой сибирскій странникъ. У Ихъ Величествъ разговоры съ нимъ были всегда только на отвлеченныя темы или о здоровьи Наслъдника».

Царь долженъ пріѣхать домой. Царица ждеть его возбужденная, увѣренная. Великій князь Н. Н.? «Онъ знаетъ мою волю и боится моего вліянія на тебя, направляемаго Григоріемъ»...

Недаромъ боится, можно сказать.

Царь вернулся 25-го іюня — готовый совершенно. Исполненія начинаются: онъ — во глав'в арміи, вм'всто Николая Николаевича, — это, конечно, первое; зат'ємъ все, какъ по нотамъ, и назначенія, и см'єщенія, и крестные ходы... Нам'єченъ и роспускъ Думы.

И первое письмо посит его отътвада, въ августт, — ликующее, благодарное, подхлестывающее: «Еще мтсяцы назадъ говорилъ это нашъ Другъ... Богъ

съ тобой, Другъ за тебя... Теперь все дѣло въ арміи. Ты — Самодержецъ, ты доказалъ это!»...

Царица такъ увѣрена въ себѣ и въ своей (съ Распутинымъ) правотѣ, и такъ презираетъ «враговъ» (общество, Думу и т. д.), что не особенно заботится о сокрытіи «вліяній» Маленькаго Домика. Царь — Главнокомандующій — она считала это необыкновенно важнымъ и не разъ впослѣдствіи поминала: «Нашъ Другъ во-время разглядѣлъ карты и пришелъ, чтобы спасти тебя, умоливъ выгнать Николашу и самому взять командованіе»... Или: «Не бойся называть имя Гр., говоря съ генераломъ Алексѣевымъ, — благодаря Ему ты остался твердъ и годъ назадъ взялъ командованіе». Разсказываетъ и Саблину, что это былъ Распутинъ, «который заставилъ насъ повѣрить въ безусловную необходимость этого шага».

Только Аня, бѣдная Аня, самозабвенно лепечетъ: «Послѣ паденія Варшавы Государь рѣшилъ безповоротно, безъ всякаго давленія со стороны Распутина или Государыни, стать самому во главѣ арміи; это было единственно его личнымъ, непоколебимымъ желаніемъ и убѣжденіемъ. Свидѣтельствую, что Императрица А. Ө. ничуть не толкала его на этотъ шагъ».

Можетъ быть, намъ уже больше и не стоитъ отмѣчать подобныя «свидѣтельства»?

Въ обществъ принятіе царемъ командованія

породило чувство болѣзненнаго недоумѣнія. Слишкомъ этотъ актъ, при всей совокупности обстоятельствъ, былъ «неполитиченъ». Другіе, за нимъ послѣдовавшіе, столь же неполитичные, уже начали вызывать панику. Да что же это такое, наконецъ? Мало-по-малу, всѣ поняли, что это такое. Поняли, что у русскаго правительства — два врага, и что войну оно ведетъ на два фронта: съ Германіей — и со всѣмъ русскимъ обществомъ.

«Не мѣшайте намъ, вмѣстѣ съ вами, бороться съ нѣмцами за Россію», — вотъ была первая просьба общества и Думы къ правительству (т.е., въ сущности, къ царю). — Нѣтъ, отвѣчало правительство, германская война — моя, вы — мои враги, а такъ какъ я и Россія — одно, вы враги и Россіи.

И все стало напраснымъ; и уступки, и блокъ умѣренныхъ съ правыми, и воззванія: «но передълицомъ общаго, могучаго врага внѣшняго...» Все. Въ «маленькомъ домикѣ» у Ани рѣшалась эта вторая война. Что значилъ Таврическій Дворецъ передъ «маленькимъ домикомъ»? Могъ ли онъ всетаки не принять эту войну? Военныя дѣйствія были открыты.

Таврическій дворецъ зналъ, что принять ее — гибель. Не принять — тоже гибель. И онъ принялъ ее... наполовину.

Какъ видимъ, и это была тоже гибель, третья.

противъ церкви

Успѣхъ окрылилъ царицу. Энергія ея удвоилась. Теперь надо спѣшить съ подборомъ нужныхъ людей, съ устраненіемъ всѣхъ остальныхъ. Много дурныхъ, злыхъ, не любящихъ ее и Друга... Но съ Нимъ она чувствуетъ себя непобѣдимой.

Заботы съ министрами, а тутъ еще начинаетъ путаться церковь, — Синодъ, епископы... Съ оберъ-прокуроромъ, «государевымъ окомъ» въ Синодъ — была большая возня. Смъщенія ненавистнаго Самарина (честнаго москвича, довольно популярнаго въ умъренно-либеральныхъ кругахъ) царица легко достигла, но пока добралась до послъдняго ничтожества, Раева («онъ обожаетъ нашего Друга»), — сколько хлопоть, примъриваній, краткихъ назначеній и выгоновъ. Вообще съ церковью (она думаетъ, что съ Синодомъ, съ епископами) борьба неустанная, кропотливая. Сибирскій монахъ Варнава, прожженный мужиченка распутинскаго типа, сразу отдалъ себя въ распоряжение «Друга» и затъмъ, ничего уже не боясь, выступилъ противъ Синода. Самовольно открыль, на родинъ Распутина, мощи новаго святого и потребовалъ его канонизаціи. Въ виду такой наглости (Варнава, почти неграмотный и грубый, велъ себя въ Синодъ непозволительно) началась прескверная и прескандальная исторія. Царица внѣ себя отъ бѣшенства. Не царь ли глава православной церкви? «Крикни на нихъ, душка, на этихъ животныхъ (епископовъ). Они не смѣютъ... Твой пріѣздъ сюда долженъ быть карательной экспедиціей»...

Варнаву она принимаеть, и даже ласкательно зоветь «Сусликомъ».

Кончилось это весьма позорно... для Синода. Половина епископовъ была выгнана, митрополитомъ назначенъ Питиримъ, избранникъ Распутина (сколько твердила о немъ царица, съ какимъ нажимомъ!). Варнава получилъ санъ архіепископа и награжденъ крестомъ, открытый имъ «святой» признанъ. «Враги», — на этотъ разъ представители Церкви, — были еще разъ побѣждены царицей и ея Другомъ.

Впрочемъ, церковныя дѣла не заставляютъ царицу забывать о дѣлахъ болѣе важныхъ: необходимо выбрать министра внутреннихъ дѣлъ.

Что касается «премьера» — о немъ подумаютъ послѣ. «Старикъ» (бывшій «сѣрый другъ» — Горемыкинъ) еще сидитъ, ничего. Но, конечно, старъ, и подъ рукой Распутинъ ѣздитъ на поиски: «Завтра Другъ увидитъ Х., а потомъ я Его повидаю вечеромъ. Онъ скажетъ мнѣ, годится ли тотъ быть преемникомъ Горемыкину»... На другой день царица пишетъ: «Ну, видѣла Друга съ 5—7 у Ани. Онъ не можетъ примириться съ мыслью объ увольненіи ста-

рика. Думаетъ, что лучше подождать... Навываетъ его премудрымъ»... Очевидно испытуемый не сгодился. И Горемыкина пока держатъ.

10

ГРИШКИНА «БЕЗМЪРНОСТЬ»

Но если Аня такъ фатально, очевидно и наглядно, лжетъ, лепеча: Распутинъ не имѣлъ вліянія на политику... онъ политикой не занимался... могъ бы заниматься, къ нему министры ѣздили, но не занимался... Онъ только объ отвлеченныхъ вещахъ... — если она лжетъ, и мы видимъ, что Распутинъ, кромѣ дебошей, только и занимался, что «политикой», — пора спросить себя, какая же у Распутина была политика?

Несложная и незамысловатая политика царицы? Утвержденіе самодержавія въ лицѣ любимаго Ники? Но какое дѣло до Ники Распутину. Не хочетъ ли онъ «торжества правды», какъ ее понимаетъ, не думаетъ ли о Россіи?

Нътъ, въ безпардонной Аниной лжи есть доля страшной правды. Непрерывно занимаясь политикой, — можно сказать дълая ее, — Распутинъ, въ сущности, ею не занимался, или не ею занимался: о политикъ онъ даже перваго понятія не имълъ, и ровно никакой политики у него не было: совсѣмъ никакой, даже самой примитивной, царицыной.

Заглянемъ, чтобы понять въ чемъ дѣло, въ самое нутро вотъ такого русскаго мужика, — лѣсного, вемляного Гришки Распутина.

Во-первыхъ, — онъ невѣжественъ, почти непредставимо и — непоправимо. Во-вторыхъ, — онъ уменъ. Въ соединеніи получается то, что вовутъ «мужицкимъ умомъ»; какая-то, геніальная «сметка», особая гибкость и ловкость.

Сметка повволяетъ Распутину необыкновенно быстро оборачиваться, пронивывать острымъ взоромъ и схватывать данное, направлять его такъ и къ тому, чего онъ желаетъ. Но сами желанія его до крайности просты, и безъ всякаго подобія «политики». Распутинъ даже не «честолюбивъ»: слишкомъ тонкое это для него понятіе. Если попытаться выразить въ словахъ, чего собственно желалъ Распутинъ, то выйдетъ прибливительно такъ: «чтобы жить мнѣ привольно, ну и, конечно, въ почетѣ; чтобы никто мнѣ не могъ препятствовать, а чтобы я, что вахочу, то и дѣлаю. А другіе пусть грызутъ локти, на меня глядя».

Кром'в этихъ: «чтобы жить мнъ...» никакихъ у него желаній не им'вется; онъ и не подозр'вваетъ, что могутъ существовать еще какія-то другія. Сами по себ'в — они обыкновенн'вйшія изъ обыкновенныхъ. И мы въ Распутин'в опять ничего не поймемъ,

если не поймемъ еще одного свойства его, очень важнаго.

Въ душѣ — или въ «натурѣ», — такого русскаго «странника» каждое изъ его простыхъ желаній доведено до размѣровъ гомерическихъ и вообще ничѣмъ не ограничено. Привольная жизнь? Онъ ее представляетъ себѣ, безъобравно и неопредѣленно, въ какомъ-то такомъ видѣ, что «небу жарко». Почетъ? Такой ужъ почетъ, чтобъ неслыханно. А дѣлать, что хочется — это значитъ на цѣлый свѣтъ размахнуться, въ вихряхъ закрутиться, безъ препоны, безъ удержу, и всѣ прочь съ дороги!

При такой непомѣрности волевого устремленія самое простое желаніе принимаетъ образъ чудовищный. Понятіе о мъръ является лишь съ началомъ какой-нибудь культурности. Но Распутинъ — первобытный человѣкъ изъ вѣковой первобытной среды.

Какъ многіе, ему подобные, — изъ болѣе одаренныхъ, — онъ съ юности томится тяжелыми страстями своихъ желаній; бросается въ «божественность» (это одно — доступно, одно — рядомъ: и монастыри, и странники, и «святость»). Конечно, и тутъ онъ безмѣренъ въ размахѣ; тотчасъ стихія завиваетъ его — и онъ тычется въ разгулъ, въ похабство, — знай нашихъ, всѣ прочь съ дороги!

Но «мужицкій умъ», — сметка, — не дремлетъ. Настоящей сладкой, почетной, вольной жизни нѣту. И чуть ему «пофартило» — онъ маху не далъ. Зацѣпился — и повхаль, — поплыль по молочной рвкв къ своимъ кисельнымъ берегамъ.

Похоть, тщеславіе, страхъ — обычная челов'є-ческая тріада, первоначальный двигатель воли; но время куетъ ее на своей наковальн'є, а молотъ — сознаніе, и то, что мы называемъ культурой. У Распутина — похоть, тщеславіе и страхъ — въ д'євственномъ, нетронутомъ вид'є и въ русской, острой безм'єрности, безкрайности. И только они. Ничего другого ни въ немъ, ни у него не было. Какъ же, и зач'ємъ, станемъ мы говорить о какой-то «распутинской политик'є»?

11

БАХВАЛЪ И НЪМЦЫ

Попавъ на «кисельные берега», Распутинъ смекнулъ остро, чѣмъ держится, и что цѣнится. Съ геніальнымъ тактомъ юродствуетъ, темнитъ свои прорицанія, подчеркиваетъ «народную», «мужичью» святость. Да особой хитрости, тонкости и не требовалось. Среда, въ которую онъ попалъ, была вѣдь тоже по-своему некультурна и невѣжественна. Шелковая русская рубашка Распутина — это для нея убѣдительно, умилительно, а попробуй онъ надѣтъ дешевенькій пиджакъ, заговори онъ человѣчьимъ языкомъ (отлично зналъ его, понатершись), назови

кого-нибудь на «вы», а царя и царицу не «папой съ мамой» — еще неизвъстно, чъмъ бы обернулось.

Осторожный, опасливый, онъ не лѣзъ туда, гдѣ могъ сорваться. Бывало, конечно, — при его-то безудержности, — но онъ быстро поправлялся. Въ началѣ войны ошибся: запророчествовалъ болѣе опредѣленно, заѣхалъ въ «политику» и «географію»: будетъ, молъ, побѣда, какъ подплывутъ къ городу Вѣнѣ русскіе корабли...

Главная «политическая» роль — указывать, подъискивать, ставить «върныхъ» людей — сразу пришлась ему по душъ. Нехитро, почетно и выгодно. Онъ и выбираетъ такихъ, которые не только не сковырнутъ его, не лишатъ приволья и почета, но еще всячески стараться для него будутъ, изъ одной благодарности за такое мъсто.

Распутинъ, какъ и царица, увѣренъ, что все совершается вотъ тутъ, въ этомъ мѣстѣ, около царей. Подальше, пошире? Тамъ стѣны тумана, непоправимое невѣжество. А онъ и не любопытенъ. Схватываетъ остро лишь то, что, думаетъ онъ, можетъ коснуться его самого. Черезъ полгода войны онъ, конечно, не сказалъ бы, что надо посылатъ корабли въ Вѣну. Онъ, вотъ, разсуждаетъ о будущей роли Англіи и находитъ благопріятной гибель Китченера... Но объ Англіи онъ знаетъ такъ же мало, какъ о Россіи, и къ обѣимъ одинаково равнодушенъ.

Войны онъ не хотълъ (ни одинъ русскій мужикъ

не хочетъ войны и ненавидитъ ее изъ своего угла). Но разъ война — онъ обязательно хочетъ побъды русскаго царя надъ Вильгельмомъ (царица по-своему, Распутинъ по-своему, по-мужицки, но оба смотрятъ на войну, какъ на борьбу царей). Его прямой интересъ, чтобы побъдилъ царь, около котораго ему привольно и почетно живется. Всъ росказни о нъмецкихъ симпатіяхъ Распутина (не говорю ужъ царицы) совершенный вздоръ. Онъ видълъ въ побъдъ прямое благо для себя, — какъ же не желать ея?

Не забудемъ однако: въ Распутинѣ сидитъ еще и пьяный разгульникъ и похотникъ. «Чего захочу — чтобъ не было мнѣ никакой препоны»... Пьянство его — русское, гомерическое, съ плясомъ дикимъ и съ гикомъ, непремѣнно со скандаломъ... и съ «бабами». Даже изъ наикультурнѣйшаго русскаго человѣка выскакиваетъ, если онъ пьянъ, гришкинъ дебошъ и скандалъ. Что же послѣ этого Гришка, въ первобытности своей и безмѣрности?

Пилъ онъ, дъйствительно, безъ мъры. Съ ногъ не скоро валился, очень былъ кръпокъ. А потому говорили, что онъ пьетъ — не пьянъя. Какъ бы не такъ: если онъ пьетъ — онъ пьянъ до дна. Все — до дна: и гикъ, и крикъ, и плясъ, и гомерическое бахвальство. Въ эти минуты расчетъ и хитрая смътливость отступаютъ отъ него. Ему дъйствительно «море по колъно». Ему надо ужъ не удивлять, — поражать на мъстъ.

Грубыя и грязныя сплетни о его отношеніяхъ къ царицѣ — порожденіе самого Распутина. Въ извъстный моментъ онъ былъ способенъ на все. Неосторожное или намѣренно-ловкое слово собутыльника — и Распутинъ выхватываетъ изъ кармана кучу смятыхъ бумажекъ — письма царицы. Не выпускаетъ изъ рукъ, но махаетъ въ воздухѣ ими, тычетъ пальцемъ, хрипитъ: «а? что? Не писала этого? Да она у меня... Да я ее»...

Ловкому, холодному человъку ничего не стоило обойти его въ эти минуты.

И меня не удивляетъ такой фактъ, не всѣмъ, можетъ быть, извѣстный, но достовѣрный: въ Петербургѣ имѣлась очень серьезная нѣмецкая организація — изъ русскихъ состоящая. Люди достаточно тонкіе, чтобы употребить на пользу и Распутина. Они ничего у него не просили; это были только вѣрные товарищи и участники грандіозно-безобразныхъ его кутежей. Сами даже задавали сутками длящіеся кутежи, иногда прямо «въ честь» Распутина.

И «собутыльники» эти ужъ, конечно, умѣли узнавать отъ Распутина все, что вналъ онъ. Треть его рѣчей была чепухой, треть бахвальствомъ, но треть, случалось, шла на пользу: въ послѣдніе годы царица не устаетъ разспрашивать царя о военныхъ (секретныхъ) планахъ и намѣреніяхъ «для нашего Друга, который можетъ помочь», не устаетъ повторять: «говори съ Нимъ откровеннѣе обо всемъ».

И вотъ самъ Распутинъ постепенно какъ-будто втягивается въ военныя дѣла. То совѣтуетъ «наступать около Либавы», то настойчиво требуетъ «приказать Брусилову немедля остановить южное наступленіе». Детальныя военныя письма царицы съ названіями полковъ для защиты тыла, лѣваго фланга и т. д. — даже странны своей опредѣленностью. Она, конечно, повторяетъ чужія слова и, конечно, Распутина. Но и для Распутина они странны. Ужъ не вложены ли въ уши пьянаго бахвала, гдѣ-нибудь на «Виллѣ Родэ», подъ утро? Не внушены ли, съ незамѣтной ловкостью, грозному внушителю?

Слишкомъ точно знали нѣмцы наши «секретные» планы; слишкомъ послѣдовательны были наши военныя неудачи. Кое-что можно отнести на долю и Гришкиной бахвальной, пьяной безмѣрности. Утвердимъ, однако: онъ никогда сознательно «своихъ царей» не предавалъ. Это было не въ его интересахъ.

Не предаваль и не продаваль. Нѣмцы недурные психологи въ этихъ дѣлахъ; думаю, они и не дѣлали ему прямыхъ денежныхъ предложеній, хотя знали, что Распутину деньги нужны, и что онъ беретъ, по пословицѣ, «съ живого и съ мертваго».

Бралъ онъ такъ, и съ такой оглаской, что даже министры струсили; пошушукались съ охраннымъ отдѣленіемъ и рѣшили выдавать ему опредѣленное ежемѣсячное содержаніе, въ два срока, тайнымъ порядкомъ, конечно, изъ секретныхъ суммъ. Исторія эта извъстна. Гришка явился, денежки принялъ, но толку не вышло никакого: не сократилъ гомерическаго побора. Да и что ему жалкія охранныя тысченки? Слизнуть. Поклонницы баловали его невъроятно, одъвали въ шелкъ и бархатъ, квартиру заваливали цвътами, конфетами, и всякимъ добромъ посущественнъе; съ богатенькихъ просителей Распутинъ бралъ и натурой: шубой или чайнымъ сервизомъ. Но все это было не то: требовались деньги. И не потому, что онъ жаденъ къ деньгамъ: онъ жаденъ къ ихъ швырянью. Тоже русская черта: попойка — не попойка, море разливанное, денегъ не жалътъ, не считать; захочу — псу подъ хвостъ суну, захочу — все себъ загребу.

Для этого денегъ нужно было много; и не диво, что Гришка бралъ, не обинуясь.

Но никогда не бралъ у царицы, держалъ себя крѣпко. Скупая, она и не дала бы, пожалуй. Однако, врядъ ли взялъ бы, если бъ и дала. Ему нужно было слыть «тамъ» — безсеребреникомъ. И слылъ. Не опасался, что дойдутъ слухи до Царскаго: возъмутъ за «сплетню», а то и такъ: богатый далъ, — а онъ бѣдному отдалъ.

Недаромъ Аня «вспоминаетъ»: «сколько онъ добра дѣлалъ! У него на пріемахъ бывала всякая бѣднота, и онъ всѣмъ помогалъ».

Ан'ь-то, положимъ, в'вдома эта «б'вднота», и она разсказываетъ о Распутин'в зд'всь съ обычной своей правдивостью. Но царица в'врила, кажется, искренно.

12

выборы министровъ

Жизнь въ Царскомъ нѣсколько измѣнилась, когда царь сталъ главнокомандующимъ. Онъ все время теперь въ Ставкѣ. Еще меньше существуетъ.

У царицы по горло хлопотъ. Ея хозяйство расширяется. Мальчика она упорно держитъ въ Ставкъ, у отца. Боленъ? Поправится. Главное — пусть учится быть царемъ.

Общими усиліями (Аня д'єйствуєть, какъ никогда) найдень, наконець, министрь внутреннихь д'єль — Хвостовь.

Началъ Хвостовъ съ Распутина, конечно. Пригласилъ его въ Нижній (онъ еще нижегородскій губернаторъ) и такіе закатилъ ему пиры, что царица спѣшитъ: «нашъ Другъ телеграфировалъ, что Хвостовъ былъ бы хорошъ» министромъ.

Затѣмъ, съ неразлучнымъ Андрониковымъ, Хвостовъ переходитъ на Аню.

Андрониковъ, — толстый господинъ безъ опредъленныхъ занятій, вс'ьмъ изв'єстный авантюристъ. Но изв'єстное вс'ьмъ — никогда не изв'єстно при

дворѣ. Да если бъ и узналось, какъ смотрятъ на него «всѣ»? «Они» осуждаютъ — значитъ, хорошій человѣкъ. Врагъ «имъ» — другъ намъ.

Андрониковъ и Хвостовъ очаровали Аню. И вотъ, царица начинаетъ, на скорую руку (дѣлъ такъ много!), обрабатывать царя.

«Хвостовъ опять былъ у Ани и умолялъ, чтобы и его приняла, что я и сдѣлаю сегодня. Нѣкоторые боятся, что я вмѣшиваюсь въ государственныя дѣла, а другіе считаютъ, что я должна помочь, — Андрониковъ, Хвостовъ, Варнава»...

«Ну, душка, я бесѣдовала съ «хвостомъ» (фамильярно-ласкательныя клички — слабость царицы) и полна лучшихъ впечатлѣній. Я нѣсколько бевпокоилась, такъ какъ Аня способна увлекаться, но, переговоривъ съ нимъ, нашла, что работать съ такимъ человѣкомъ — удовольствіе. Ясная голова. Энергиченъ. Знаетъ крестьянъ, народъ. Будетъ охранять нашего Друга». «У него колоссальное тѣло, по словамъ Ани, но душа его возвышенна и чиста». Вечеромъ польщенная приписка: «толстый Андрониковъ телеграфировалъ Анѣ, что Хвостовъ очень доволенъ моей бесѣдой, и передавалъ другія любезности».

Андрониковъ, Хвостовъ, Бѣлецкій... Аня принимаетъ ихъ всѣхъ въ Маленькомъ Домикѣ и очень горда, что тоже «помогаетъ». Съ непривычки труситъ чего-то. Но — «Андрониковъ далъ Анѣ честное сло-

во, что никто не будеть знать, что Хвостовъ у нея бываетъ». «Назначь его скоръе, душка!»

Въ первый же прівздъ царя всв желанія Маленькаго Домика были исполнены. Хвостовъ и Бълецкій назначены. Остальныхъ, намъченныхъ царицей, убрали.

Хвостовъ и послѣ назначенія не забываетъ Аню, считаетъ, что очарованіе стоитъ поддерживать. Но царица уже ворчитъ: «Хвостовъ и Бѣлецкій обѣдаютъ у Ани, я нахожу, это жаль, — точно она хотѣла играть политическую роль, а она такъ тщеславна, самоувѣренна, недостаточно осторожна, но они просили принять, вѣрно имъ надо опять что-нибудь передать, а нашъ Другъ всегда желалъ, чтобы она жила для такихъ вещей». (Неблагодарная Аня! Забыла и очарованіе свое, и всѣ любезности и увѣряетъ теперь: «Хвостовъ производилъ непріятное впечатлѣніе»)...

Эта печальная зима, съ ея систематическими военными неудачами (15—16), — зима сугубо-безобравныхъ кутежей Распутина. Скандалъ разростался. Аня, можетъ быть, внала, вздыхала, негодуя на «сплетни», но царица не знала ничего: и не слушала, да и некогда ей: принимаетъ «своихъ» министровъ, ѣздитъ въ Верховный Совѣтъ — «Какъ хорошо, что ты далъ мнѣ Верховный Совѣтъ!» — и ходитъ вечеромъ къ Анѣ, гдѣ Другъ бываетъ... трезвый, серьевный, настойчивый: «Питирима — сюда. Другъ

просить тебя быть твердымъ, такъ какъ это единственный подходящій человѣкъ». Кромѣ того Другъ опять предлагаетъ много вопросовъ о планахъ царя насчетъ Румыніи, о рескриптахъ, о Думѣ, когда ее сзывать. «Онъ находитъ, что если будетъ какаянибудь побѣда, то Думу совсѣмъ не надо сзывать»...

А вотъ у Друга — «ночное видѣнье. Проситъ приказать начать наступленіе возлѣ Риги. Проситъ тебя серьезно»...

Это въ ноябрѣ-то наступать, потому что у Распутина ночное видѣнье!

Но если начинають наступленіе безь него — онь сердится: «Начали движеніе, не спросивши Его, — пишеть царица. — Онь всегда обдумываеть, когда придеть хорошій моменть для наступленія».

Опять прівзжаеть царь. Молча, какъ манекенъ, подписываеть все, что отъ него требують, назначаеть, смѣщаеть, — уѣхалъ.

Только что назначенный митрополить Питиримъ (онъ распутинскаго типа) добро помнитъ. Даетъ въ честь Распутина завтракъ, оквужаетъ его подобострастнымъ вниманіемъ — «привольная жизнь въ почетѣ!» Анѣ занездоровилось — митрополитъ сидитъ у ея постели въ Маленькомъ Домикъ. «Добрый человъкъ!»

Въ Петербургъ жизнь шла странная, — стыдная. Всъ чувствовали, что наваливается что-то на плечи и тяжелъетъ. Думу созывали ръдко, съ въч-

ными отерочками. Когда созовутъ, наконецъ, — Думское колесо вертится въ пустотъ. Дъла дълаются тамъ, за стънами маленькаго Анинаго домика. И немножко на Троицкой, гдъ Гришка принимаетъ министровъ, облеченный въ бълую хламиду. Наиболъе усердные цълуютъ полу этой хламиды. Губы не отвалятся, а ужъ все равно, разъ Гришка, то почему не въ хламидъ? А разъ въ хламидъ — почему и не приложиться къ ней? Кто сказалъ «А» — почему ему не дойти и до «Z»?

Все же хламида — внакъ, что Распутинъ и въ трезвое время, дома, несовсъмъ нынче выходитъ изъ перегара. Ему хочется все большаго, все большаго «почета». Зудитъ что-нибудь выдумать самому. Хламиду выдумалъ. Пусть видятъ и чувствуютъ.

На Хвостова мы всѣ, зная его, смотрѣли сначала съ презрительнымъ равнодушіемъ. Потомъ стали ждать какого-нибудь скандальнаго выверта. Ужъ очень пошла сильная чепуха. Филеры Хвостова слѣдили за филерами, приставленными къ Распутину, послѣднимъ былъ отданъ приказъ слѣдить за хвостовскими. Кончилось тѣмъ, что всѣ столкнулись лбами, потомъ подружились, потомъ всѣ такъ перепутались, что ни одинъ уже не зналъ хорошенько, за кѣмъ слѣдитъ.

Но Распутинъ былъ покоенъ. Ночами дебоширилъ, дралъ носъ и безобразничалъ вволю, кочун изъ одного притона въ другой. Къ утру его при-

возили замертво изъ послѣдняго, самаго низкосортнаго — домой. Проспавшись, прочухавшись, умывшись, а то и въ баньку съѣздивъ, онъ начиналъ свой день: министры, дамы, просители, цвѣты, еще дамы, опять министры, снова дамы... Это, конечно, если его по телефону не требовали въ Царское, или если Аня самолично за нимъ не являлась.

Въ Маленькомъ Домикѣ — новая горячая работа: выборъ премьера. Какъ ни тянули со слабъющимъ «старикомъ» — нътъ, видно, пора погадать о замъстителъ.

Распутинъ останавливается на Штюрмерѣ. Человѣкъ пожилой, старцу-Горемыкину не будетъ обидно; извѣстный, почтительный, давно около ходитъ, богатъ, а ужъ какъ благодаренъ-то будетъ...

«Душка, возьми Штюрмера, онъ настоящій человѣкъ. Нашъ Другъ такъ сказалъ. Онъ очень цѣнитъ нашего Друга, а это большая вещь»...

Съ каждымъ мѣсяцемъ царь податливѣе, исполнительнѣе.

Царица, положимъ, не скупится на повторенія и настоянія, но какъ-то все происходитъ быстрѣе. Въ январѣ (16 г.) царь пріѣзжаєтъ домой и въ десять дней, безмолвно, успѣваєтъ поставить свой штемпель на всѣхъ рѣшеніяхъ Маленькаго Домика: «старецъ» Горемыкинъ удаленъ, Штюрмеръ назначенъ. Тутъ же, кстати, выгнаны неугодные Питириму епископы («наглыя животныя!»). Сообщены «конфиденціаль-

но» военные планы, въ большихъ подробностяхъ: куда будетъ послана артиллерія, идетъ ли гвардія «къ югу отъ Келлера», какія гдѣ силы остаются «для ващиты лѣваго фланга» и т. д. Сомнѣваюсь, чтобы осовѣлый отъ пьянства Гришка могъ все съ точностью запомнить; но кое-что навѣрно запомнилъ. Вскорѣ онъ вачѣмъ-то сталъ требовать назначенія генерала Иванова. И царица принимается за свой благодарный трудъ: «подумай, подумай, подумай о генералѣ Ивановѣ»... «Что же насчетъ Иванова? Нашъ Другъ такъ хочетъ, чтобъ онъ былъ назначенъ»... (Конечно, исполнено).

Со Штюрмеромъ, новымъ премьеромъ, «правительство маленькаго домика» переживаетъ медовый мѣсяцъ. Штюрмеръ у царицы съ докладами каждый день.

Кто — Штюрмеръ? Лѣтъ 12—15 тому назадъ, онъ — ярославскій губернаторъ. И тогда уже немолодой, высокій, ширококостный, въ бѣломъ военномъ кителѣ, любезный, гостеприіимчивый — производилъ онъ скорѣе пріятное впечатлѣніе, хотя немножко двойственное. Онъ видимо хотѣлъ показать себя передъ «петербургскими писателями» прежде всего культурнымъ человѣкомъ. Мягко либеральничалъ.

Но при этомъ — подчеркнутое тяготѣніе къ церквамъ, священникамъ, вообще къ «православію». Нѣмецкая фамилія и отдаленное нѣмецкое происхожде-

ніе видимо мучили его: они мѣшали, думалъ онъ, его карьерѣ. И онъ старался играть русскаго коренного аристократа. На стѣнѣ растрелліевскихъ губернаторскихъ покоевъ висѣли, подъ стекломъ, напоказъ, масонскіе знаки «прадѣда». Въ драгоцѣнномъ альбомѣ автографовъ — «фамильномъ», — имѣлись записи русскихъ царей и даже самой Екатерины....

«Нѣмецкая тѣнь» преслѣдовала его воображеніе; отсюда и руссофильство сугубое, и подчеркнутое православное благочестіе.

Намъ какъ разъ случилось присутствовать при пріємѣ знаменитаго тогда о. Іоанна Кронштадтскаго (его впослѣдствіи называли «Распутинымъ Александра III», но это невѣрно и несправедливо: у о. Іоанна, при всей безсознательности и грубоватости, было другое ядро; въ голубыхъ, разсѣянныхъ глазахъ свѣтилась наивная, дѣтская праведность).

Мы ѣздили со Штюрмеромъ и о. Іоанномъ по всѣмъ домамъ, куда о. Іоанна звали. Видѣли человѣческія волны, заливающія о. Іоанна. Удивительное зрѣлище. Но и Штюрмеръ былъ любопытенъ. Какое смиреніе, какое благоговѣніе! Весь — елей.

На пышныхъ званыхъ обѣдахъ своихъ — онъ совсѣмъ другой. Знающій себѣ цѣну сановникъ. Мягкія, придворныя манеры... Но какое окруженіе! Одинъ Гурляндъ, вѣчный его фаворитъ, чего стоилъ. Этого Гурлянда онъ довлекъ до своего премьерства и тотчасъ посадилъ на тепленькое мѣстечко, уво-

ливъ 25 лътъ служившаго тамъ человъка. Царица, и та удивилась.

Мы прозвали его тогда «лукавый царедворецъ». Онъ такимъ и остался, попавъ въ премьеры. И если, въ концѣ концовъ, не пришелся, то лишь потому, что безуміе этого исключительнаго Двора даже его вахлестнуло. Чтобы приспособиться, мало тонкаго или даже грубаго лукавства, надо самому быть сумасшедшимъ.

Штюрмеръ же все-таки пытался дъйствовать по расчету. Полагалъ, что если существуетъ, къ несчастью, Дума, то разумнъе бороться съ ней исподволь, а не лъзть нахрапомъ съ дубиной. Понимая положеніе, онъ ваискиваетъ у Распутина и льститъ царицъ, грубо, какъ ребенку, поддакивая. Но гнетъ къ умъренности, дъйствуетъ съ осторожностью. Это грубое лукавство долго спасало его. Не спасло... Запутался, и самъ махнулъ рукой. Царица, незадолго до его отставки, въ концъ 16-го года, замъчаетъ: «онъ давно не видълъ нашего Друга — и потерялъ точку опоры».

13

маленькій скандалъ

Но пока — лучше Штюрмера нѣтъ, и онъ «постоянно бесѣдуетъ съ Другомъ».

Въ самый разгаръ медоваго мъсяца разражает-

ся скандаль съ однимъ изъ върнъйшихъ избранниковъ: Хвостовымъ. Этой конфузной и грязной исторіи я не буду насаться въ подробностяхъ. Не то спутавшіеся охранники соединенными силами что-то пронюхали, не-то завистливый бывшій монахъ Иліодоръ донесъ — словомъ открылось, что возлюбленный «Хвость» — заговорщикъ и подкупаеть какихъ-то лицъ, чтобы убить Распутина. Въ этой исторіи, негласной, конечно, было много комизма. Кто и для чего втравилъ въ нее Хвостова, и было ли это серьезно — осталось во мракъ неизвъстности. Проваливаясь, Хвостовъ попытался было выставить себя передъ общественными кругами «пострадавшимъ за освобождение Россіи»: онъ хорошо зналъ всеобщую къ Распутину ненависть. Но и это не удалось. Такъ шутомъ онъ и сощелъ со сцены, никого особенно не ваволновавъ.

Въ Царскомъ — другое. Царица и Аня «переживаютъ тяжелые дни». «Я такъ несчастна, пишетъ царица, что мы съ Аней, черевъ Друга, рекомендовали тебъ Хвостова»... Она, впрочемъ, сваливаетъ вс на нихъ: «я только уступила ихъ давленію»... О собственномъ восторгъ передъ «ясной и возвышенной душой» Хвостова она забыла, — можетъ быть, искренно. Потрясеніе Ани принимаєтъ бурныя формы: «она была убійственна со своими телефонами, визитами и исторіями про нашего Друга, кидала палкой по комнатъ, хохотала!»

Но все это ничто передъ потрясеніемъ самого «Друга». Онъ д'вйствительно вн'в себя, и не отъ возмущенія, не отъ досады, — отъ страха. Самаго обыкновеннаго, животнаго страха передъ «убивцемъ», какъ зоветъ Хвостова. Въ б'вшеной ярости онъ бросается съ кулаками на б'вдную Аню. Ежеминутно требуетъ ее къ себ'в (самъ зас'влъ дома, носу не высовываетъ), если она медлитъ — посылаетъ жену, которая тоже д'влаетъ ей сцены. Даже царица не можетъ скрыть: «Въ теперешнемъ своемъ настроеніи Онъ кричитъ на Аню и такъ страшно нервничаетъ... Боится у'вхать, говоритъ, что Его убъютъ... ну, мы увидимъ, это какъ Богъ дастъ»...

14

«ПРОЩАЙТЕ, РОДНЫЕ...»

Лето 16-го года было прохладное, тихое.

Въ іюньскій вечеръ я стою на балконѣ нашей квартиры, въ Петербургѣ. Балконъ во второмъ этажѣ, уличные торцы такъ близко. Нашъ домъ — послѣдній, и направо, за рѣшеткой, кудрявятся свѣжія высокія деревья Таврическаго сада. Чуть виденъ въ зелени широкій куполъ дворца — это Дума. А налѣво — какъ стрѣла прямая, широкая Сергіевская улица, такая прямая, что конецъ ея потерянъ въ волотомъ туманѣ заката, въ небесномъ сіяніи.

Улица пустынна и безмолвна. Но вотъ какъ-будто далекіе, слитые звуки, голоса, — пъсня. Далекіе — они приближаются, близятся, вытягиваются, вотъ совсъмъ близко... и я вижу, какъ прямо на меня, ивъ переулка, что вьется вдоль ръшетки, выходятъ рядами солдаты. Стройные ряды тотчасъ заворачивають на прямую улицу, — туда, къ закату. Они идутъ, идутъ, — но не проходятъ; они не могутъ пройти, ихъ слишкомъ много. Карре за карре выступаютъ все новые, огибаютъ уголъ, наполняютъ длинную улицу, и не видно уже перерывовъ между карре, — точно широкая, свътлосърая змъя тянетъ къ заходящему солнцу свои кольца, наливаетъ воздухъ стонущей пъсней, все той, опять той же, той же, винтомъ ввинчивающейся въ душу:

Прощайте, родные, Прощайте, друвья, Прощай, дорогая Невъста моя...

Издалека-издалека, отъ тѣхъ первыхъ, что теперь ужъ едва видны въ золотомъ туманѣ, — только сверкаютъ надъ ними какіе-то огоньки-точки, зажженные солнцемъ, — опять несется это —

Прощайте, родные...

Улица, выблясь, поетъ —

Прощайте, друзья...

И плачутъ близкія, ровныя волны— Прощай, дорогая Невъста моя!

Какъ разскажешь это? Навстръчу пологимъ лучамъ, золотымъ острымъ мечамъ, катилось звенящее море людское и въ нихъ таяло. Тамъ былъ конецъ имъ всѣмъ, — невидный, — и къ нему все новые и новые шли, въ закатъ пропадали:

Прощайте, родные, Прощайте, друзья, Прощай, дорогая Невъста моя...

Л'єтнее позднее солнце точно остановилось на неб'є. Я ухожу, запираю балконъ, не могу больше. Но и сквозь стекла, сквозь стіны просачивается п'єсня, значить, еще идуть, идуть, идуть...

Это война. Это необходимость. Люди текуть, идуть умирать... за родину? Пусть они думають, что за родину. Или пусть ничего не думають. Потому что воть эти, сейчась проходящіе, сейчась поющіе, пойдуть въ огонь — за Гришкину привольную и почетную жизнь. И тогда пойдуть, когда ничего не внающему, ни аза не понимающему Гришкѣ взбредеть въ голову приказать наступленіе...

Я внаю, что преувеличиваю. Но нельзя уберечься отъ кошмара въ густомъ воздух войны — двойной; и вторая, война «маленькаго сумасшедшаго домика» со всей Россіей, — горше, пожалуй, первой.

ВРАГИ

Можно сказать, что лѣтомъ 1916 года уже всѣ общественные русскіе круги были въ эту вторую войну вовлечены. Незамѣтно, одинъ за другимъ вовлекались, — отъ умѣренно-лѣвыхъ, до неумѣренно-правыхъ. Между «врагами» не дѣлалось различія. Всякое движеніе пальцемъ; всякая, самая робкая, попытка принять участіе въ германской войнѣ — преслѣдовалась и каралась. Земскіе, городскіе союзы? «Послать туда «глаза» слѣдить... Тотчасъ же убрать»... Дума? «Не бойся, только скорѣе распусти Думу. Государственный Совѣтъ? онъ поступаетъ безумно»... «Какъ бы я хотѣла отхлестать и выгнать министровъ. Раздави всѣхъ»...

Эти «всв», которыхъ рекомендовалось «раздавить», отлично угрозу чувствовали. Кошмаръ Маленькаго Домика висвлъ тяжело. Кто стоялъ дальше и политикой не занимался — винили во всемъ Гришку. И ненавидъли его жестоко.

Но, можетъ быть, отсюда и пошла легенда о Гришкиной «силъ», — необыкновенной, хотя и злой, — о его «замъчательности». Въдь трудно и стыдно признаться, даже себъ, что вотъ пришелъ лядащій, заурядный мужиченка, сълъ на спину тьмъ-тьмущей народу, поъхалъ, и его покорно везутъ.

Великіе князья, родственники царя, — люди, за немногими исключеніями, самые дюжинные, выросшіе въ малокультурной, невѣжественной средѣ гвардейской военщины. Привычно-праздные, невоспитанные, склонные къ кутежамъ. Въ зрѣлые годы иной становился хорошимъ семьяниномъ, что не мѣшало ему оставаться такимъ же бездѣльникомъ, съ такимъ же узкимъ кругозоромъ.

На Распутинскій скандаль они смотрѣли, прежде всего, какъ на семейный поворъ. Но чувствовали этотъ поворъ весьма сильно, вѣдь семья-то «царская»! Маленькій Домикъ не замедлиль открыть и по нимъ военныя дѣйствія. Николай Николаевичъ палъ первой жертвой, а когда пошли уговариванья, увѣщанья, семейные совѣты, письма съ просьбами и требованіями спасти «семейную честь», удалить Гришку, — Маленькій Домикъ поспѣшиль открыть военныя дѣйствія и по другимъ родственникамъ. Начались высылки...

16

послъдній избранникъ и послъднія битвы

Для ускоренія работы, царица тадить въ Ставку и сама. Аня сначала остается. Тодеть въ Евпаторію, потомъ на родину «Друга», съ нимъ и его поклонницами, къ мощамъ новаго «святого», открытаго Варнавой.

Въ Евпаторіи она познакомилась съ караимомъ Гаханомъ, котораго потомъ царица называетъ полупрезрительно ен «предметомъ». Анн даже представляла его царицѣ, причемъ караимъ этотъ съ перваго слова такой понесъ вздоръ о заговорѣ англійскаго посланника Бъюкенена на жизнь Распутина, что надо быть Аней и русской императрицей, чтобы слушать и върить.

Скоро «Другъ» потребовалъ, чтобы Аня тоже ѣздила въ Ставку. Ѣдутъ. Не разъ, и не два. Аня пишетъ: «Императрица не сознавала, какой нежеланной гостьей была тамъ... Иностранные офицеры во всеуслышаніе дѣлали замѣчанія: вотъ она опять пріѣхала къ мужу передать послѣднія приказанія Распутина». «Свита ненавидѣла ея пріѣзды; это обозначало перемѣну въ правительствѣ»...

Даже не въришь, что это Аня такую святую правду написала. Приказанія Распутина тамъ быстро исполнялись, а онъ подваливалъ новыя, телеграммами. Въ одно изъ пребываній царицы въ Ставкъ было ихъ послано десять, самыхъ длинныхъ.

Но время не терпитъ, въдь нуженъ же министръ внутреннихъ дълъ.

Григорій не забыль Хвостова. Онъ не в'врить больше никакимъ «св'єтлымъ головамъ». Ему давай такого, «чтобъ былъ попрост'є». То-есть, говоря

обыкновеннымъ явыкомъ, — съ идіотивмомъ. Наконецъ, находится такой: Протопоповъ. Не дов'вряя больше и Ан'в, Распутинъ испытываетъ его самъ; главнымъ образомъ — таская по своимъ оргіямъ, даже московскимъ. Ничего, «ладный»...

Въ сентябрѣ — свиданье царицы съ Протопоповымъ, при Другѣ, въ Маленькомъ Домикѣ. Мгновенный энергичный нажимъ, еще одинъ визитъ въ Ставку — и Протопоповъ министръ. И такой «плотный» министръ, какимъ не былъ ни одинъ до него. Онъ (и царь) власть исполнительная, покорная власти законодательной — Маленькому Домику.

Нѣкій серьезный общественный дѣятель, вполнѣ разумный, на моихъ глазахъ началъ истерически хохотать, узнавъ о назначеніи Протопопова. А когда намъ показали стенограмму «чашки чая», перваго свиданья министра съ думцами и политиками, — мы всѣ чуть не впали въ такую же истерику неудержимаго хохота.

- Да это нарочно! Кто это выдумаль?
- Не выдумаль, а офиціозная стенограмма...

Протопопова періодами, на 2, на 3 мѣсяца въ году помѣщали въ лѣчебницу; выйдя, онъ не сразу опоминался, ходилъ растерянный, разсѣянный, то глупо-предупредительный, то наивно-дерзкій. Его идіотизмъ былъ хотя и маніакальнаго свойства, но не въ той мѣрѣ, чтобы, при неусыпномъ бдѣніи, нельзя было этого министра «направлять».

Царица и Распутинъ оцѣнили счастливую находку. Объ Анъ и говорить нечего. Аня, хоть и пишеть теперь: «Протопоповь мив лично казался слабохарактернымъ», — но онъ ей, въ сущности, какъ братъ, какъ равный, по своей «простотв» и покорности. Въ Маленькомъ Домикъ онъ ей сплетничаетъ насчетъ «враговъ»: Родвянки, Гучкова, Трепова... Оба, раскрывъ рты, невинно смѣются... Но время не ждеть, царица серьезна: «Нашь Другь и Калининь (такъ почему-то прозвали они дорогую находку) умоляють тебя закрыть Думу... Я бы не писала. если бъ не боялась за твою мягкую доброту, готовую сдаться, когда я, Аня и Другъ не поддерживаютъ тебя. Дурные ненавидять наше вліяніе, а оно на благо. Поскоръе распусти Думу. Помни о снахъ нашего Друга. Тебъ никого, кромъ Протопопова, принимать не нужно... Брусиловъ — дуракъ, запрети ему»...

Какъ-будто чувствуя сдвигающіяся стіны ненависти (Распутинъ — ничего не чувствуетъ, покоенъ съ Протопоновымъ, предается разгулу, бахвальству, ласкамъ и баловству дамъ), — царица начинаетъ впадать въ напряженіе, близкое къ безумію.

Она уже почти не пишеть о дѣтяхъ, о домѣ. О родственникахъ — только съ бранью и съ требованіями: «сошли, вышли, прекрати... вѣдь ты царь!» О мальчикѣ почти не вспоминаеть: онъ въ Ставкѣ непрерывно, и, какіе резоны ни представляеть ей французъ-воспитатель Жильяръ, доказывая, что ре-

бенку это вредно физически и морально — не слышить. Для нея мужь и сынь уже странно слиты въ одномъ понятіи «царя»; около царя «наслѣдникь», какъ бы утверждающій его бытіе. Не разбирается, конечно, и сама въ этомъ кошмарѣ, но твердить: «съ тобой Бэби... Ради Бэби, который тебя должень укрѣплять, будь самодержцемъ!»

Распутинъ для нея давно слился съ Христомъ. «Какъ Христа, его гонятъ книжники и фарисеи»... Видятся у Ани, почти ежедневно. Днемъ министры, главнымъ образомъ, Протопоповъ, вечеромъ — Другъ и его (Божьи!) указанья.

Кромѣ военныхъ дѣлъ (они разрабатываются очень подробно) — есть важный внутренній вопросъ — продовольственный. Другъ настаиваетъ, — со Ставкой сноситься некогда, — и царица беретъ рѣшеніе на себя.

«Прости мнѣ, что я это сдѣлала; но Другъ сказалъ, что это безусловно необходимо». И она посылаетъ въ Ставку, на подпись, срочную бумагу, передающую продовольствіе въ руки Протопопова, — «прежде, чѣмъ соберется Дума. Мнѣ пришлось взять этотъ шагъ на себя, такъ какъ Гр. говоритъ, что тогда Протопоповъ покончитъ со всѣми Союзами и такимъ образомъ спасетъ Россію».

Дума, союзы... и далѣе открытое признаніе: «мы съ ними со встьми въ войнъ и должны быть тверды».

Аня стерлась: она лишь «служба связи» между царицей и Другомъ. Каждое утро летаетъ къ нему отъ царицы — съ портфелемъ. Но и она чувствуетъ, что атмосфера сгущается, лепечетъ что-то о заговорѣ въ Ставкѣ, о томъ, что царицу хотятъ «заключить въ монастырь»... Распутинъ спокоенъ. Ему важно одно: чтобы остался Протопоповъ: «тогда все будетъ хорошо».

А «подлые рабы-враги», Дума и всѣ остальные, вплоть до нѣкоторыхъ, еще не успѣвшихъ полетѣть министровъ, возроптали противъ бѣднаго «Калинина». До такой дошли «наглости», что стали требовать удаленія министра съ идіотизмомъ, министра, у котораго оказалось «все въ рукахъ».

И письма царицы дѣлаются все бѣшенѣе. Въ нихъ теперь только одно: «держи, держи Протопопова. Не мѣняй, не мѣняй Протопопова». Безъ доказательствъ, уговоровъ, просъбъ: голое повторенье, по пяти — семи разъ въ день, однихъ и тѣхъ же словъ: молотокъ по черепу.

Тринадцатаго ноября, не стерпѣвъ, она опять бросилась, съ Аней, въ Ставку. Туда, ежедневно, телеграммы Распутина. Темно, то угрозно, то ласкательно, съ нарочитымъ косноязычіемъ, и все о томъ же: держать «Калинина». — «Моя порука этотъ самый Калининъ, а вы его маленько кашей покормите. Дай власть одному, чтобы работалъ разумомъ Новый».

Калинина держать, но «рабы» продолжають свои протесты, а царица свой бѣшеный нажимь: «не мѣняй, не мѣняй... Хвати кулакомъ по столу, не уступай. Царь править, а не Дума!»

Липы послѣ краткаго визита царя въ декабрѣ — царица отдыхаетъ: «не напрасно мы страдали. Ты выдержалъ борьбу за Протопопова. Будь твердъ, не сдавайся. Я страдаю за тебя, какъ за нѣжнаго ребенка (мальчикъ опять съ нимъ въ Ставкѣ). Ты нуждаешься въ руководствѣ, но Посланецъ Божій говоритъ тебѣ, что надо дѣлать».

Насчетъ Протопопова царица успокоилась, но бѣшенство ея тѣмъ сильнѣе обращено на «враговъ».

«Нашъ Другъ просилъ же тебя закрыть Думу, Аня и я тебъ объ этомъ писали. Будь Императоромъ. Будь Петромъ Великимъ, Іоанномъ Грознымъ, императоромъ Павломъ... Львова — въ Сибирь. Гучкова, Милюкова, Поливанова — тоже въ Сибирь»...

Наканунѣ рокового для нея дня она еще пишетъ: «Почему Милюковъ на свободѣ? Почему у насъ рамольная тряпка въ должности министра Двора?.. Не мѣшкай, милый, повѣрь совѣтамъ нашего Друга и Протопопова»...

Эти совъты — репрессіи. Что жъ, война такъ война!

Но вотъ короткое, взволнованное послѣднее письмо: «я не вѣрю, я не могу вѣрить, что Онъ убитъ... Пріѣвжай поскорѣе»...

Газеты писали: «одно лицо было у другого лица еще съ нѣсколькими лицами. Первое лицо послѣ этого исчезло. Одно изъ другихъ лицъ заявило, что первое лицо у второго лица не было, хотя извѣстно, что второе лицо пріѣхало за первымъ лицомъ поздно ночью» и т. д.

Распутина убили во время попойки. Убили члены царской семьи и крайне правый думскій депутать — Пуришкевичь.

Это убійство было отнюдь не началомъ войны, но первымъ актомъ обороны въ войнѣ, которую объявило русское правительство, — фактически правительство Маленькаго Домика — всѣмъ своимъ подданнымъ. Войнѣ безпримѣрной: въ ней погибли всѣ боровшіеся, съ той и съ другой стороны. И почти всѣ не боровшіеся — тоже.

На опустълое поле битвы пришли третьи и завладъли имъ.

17

«ПРОЩАЙ, ДОРОГАЯ...»

Іюньскій вечеръ; я на томъ же балконѣ. Направо, за рѣшеткой, кудрявятся деревья Таврическаго сада. Чуть виденъ широкій куполъ дворца, но это уже не Дума: это «дворецъ Урицкаго». А прямая, какъ стрѣла, улица — не улица: веленая тропа, варосшая травой. Но то же солнце пологими лу-

чами осверкало широкую тропу, — и такъ же, какъ три года тому назадъ (только три года!), потерялся ел конецъ въ волотомъ туманъ.

Босые, полуголые ребятишки роются межъ плитами развороченнаго тротуара. Напротивъ — грязный, съ осыпающейся штукатуркой домъ. Окна открыты. На подоконникахъ лежатъ — солдаты.

А, можетъ быть, и не солдаты. Если тѣ, что тогда, давно, выливались сомкнуто и стройно изъ-за угла, пѣли «прощайте, родные, прощайте, друзья» и пропадали въ закатномъ солнцѣ, если они — солдаты, эти — не солдаты. Просто деревенскіе парни, молодые мужики безъ дѣла, неизвѣстно зачѣмъ надѣвшіе трепаныя, защитныя куртки, разстегнутыя или безъ пуговицъ.

Навалившись животами на подоконники, мужики плюютъ на улицу. За ихъ спинами, въ комнатъ, свиститъ и хрипитъ грамофонъ. Что-то веселенькое, романсикъ теноровый, искаженный пластинкой.

Войны больше н'ьтъ, — войны «съ Вильгельмомъ». Можетъ быть, есть гдѣ-то, далеко, въ сторонѣ, гдѣ солнце закатывается, но чего жъ туда смотрѣть? Солдаты и не смотрятъ, смотрятъ внизъ, на тротуаръ, куда плюютъ. У нихъ съ Вильгельмомъ теперь миръ, а если «похабный», по ихъ опредѣленію, то вѣдь они своей жизни въ этомъ мирѣ такъ же не понимаютъ, какъ не понимали смерти въ войнѣ.

Улица — солнечная пустыня; даже ребятишекъ больше нътъ. Прохожій виденъ далеко-далеко, за полверсты. Вотъ какъ разъ кто-то идетъ. Удивительно! Идетъ въ нашу сторону.

Очень скоро узнаю, кто идетъ. По знакомой, припадающей походкъ. Идетъ хромая Аня. Вотъ она совсъмъ близко, съ палкой своей, на которую налегаетъ, но движется она бодро и живо. Въ скромной блузкъ, старенькая юбка черная, подмышкой пакетъ, — провизію какую-то добыла опять.

Увидала насъ, остановилась подъ балкономъ, разговариваемъ.

Она идетъ въ нашъ домъ. Поднялась на минуточку въ квартиру знакомой семьи, потомъ — къ намъ.

Сидитъ тяжеловато, но прямо, — въ креслѣ, въ длинной моей комнатѣ, смотритъ круглыми глазами, похожими на хрустальные, или стеклянные, и разсказываетъ.

Ее опять возили въ Че-Ка. По доносу сестры милосердія, навѣрное, которая ихъ грабила, коверъ даже съ полу тащила... Ну, опять допрашивали, цѣлую ночь, какъ-будто она не разсказала всего, что знаетъ! Были любезны, не мучили, скоро отпустили.

— Вамъ бы уъхать, Анна Александровна, говорю я тихонько. — Если только возможно...

Аня, по сцѣпленію идей, перескочила на «за-

творника», — онъ ей не велить еще бѣжать, велить оставаться. Затворникъ въ Александро-Невской лавръ. Онъ сидѣлъ тамъ въ ватворѣ 25 лѣтъ, только въ самое послѣднее время показался. Аня сподобилась видѣть его, бесѣдовать съ нимъ. Какъ онъ говоритъ! Этого описать нельвя. Истинный посланецъ Божій. Аня ходитъ теперь къ нему въ Лавру постоянно. И вотъ, онъ не велитъ ей уѣзжать. Велитъ, чтобы оставалась...

Совсѣмъ особенно произносить она это: «велитъ, не велитъ». Какъ вовдухъ для дыханья ей необходимъ кто-то «велящій» или «не велящій». Я не думаю, чтобъ затворникъ смогъ ей замѣнить Распутина. Это лишь первые инстинктивные и неизбѣжные поиски. Ихъ будетъ очень много...

Аня, конечно, не вабыла Распутина. Нѣтъ, она по существу вѣрная, по природѣ вѣрная; она не предастъ Распутина никогда, хоть жги, хоть рѣжь ее. Но Распутина нѣтъ. А она живетъ. Ей нужна постоянная «Божья», какъ она думаетъ, помощь, чтобы житъ. И помощь осявательная, видимая, наглядно-чудесная. Вѣдь Аня — матеріалистка, совершенно, какъ царица; только царица активная матеріалистка, Аня же, въ каждой капелькѣ крови своей, пассивна. Чтобы дѣйствительно жить, ей необходимо потерять себя, носить въ себѣ чужую волю, радостно слушать чужое приказаніе. Богъ ей, въ концѣ концовъ, безполезенъ. Но ей совер-

шенно необходимъ человъкъ, который повволилъ бы върить въ себя, какъ въ Бога.

Смотрю въ Анины хрустальные глаза. Слушаю дътскій ея, незабавный, лепетъ. Жалко? Не внаю. Странно, что, вотъ, кончилась та, первая сказка, другая началась, еще, пожалуй, страшнъе, — но другая, не Анина; Аня — живой тънью перешла въ нее, изъ одного міра въ другой, словно изъ одной пустоты въ другую, — ничего не знающая, неизмънная, неуязвимая.

И, кажется, такъ хорошо. Есть вина, страшная вина, — но кто въ отвътъ? Нъмой царь, призракъ, не существующій, какъ сонное марево? Убитая, на куски разръзанная, въ лъсу сожженная царица? Обалдълый отъ удачи, похотливый и пьяный сибирскій мужикъ? Или ужъ не эта ли стеклоглазая, круглолицая русская баба-фрейлина, хромая Аня?

Все равно. Все равно. Нельзя сдѣлать, чтобы не было бывшаго. Не для осужденія, не для мести надо вспоминать его, понимать его, держать въ умѣ. Но въ бывшемъ — теперешнее, а главное, — будущее. Сказка, которую еще будутъ разсказывать...

Тѣ же окна, тотъ же свѣтъ въ нихъ золотой, улица та же:

Прощайте, родные, Прощайте, друзья, Прощай, дорогая Невъста моя... Аня болтаетъ, грамофонъ журчитъ напротивъ. Я не слышу. У меня кошмаръ будущаго. И мнъ кажется — идутъ, идутъ за окнами невидимые полки, текутъ въ закатъ и таютъ —

Прощайте, друзья, Прощай, дорогая Россія моя!

1923.